

## Сергей Чекунов



## Гаврилова Поляна

### Литературно-документальное повествование\*

*Памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина)  
и жертв массовых и политических репрессий  
30-х–50-х годов*

*Не забывайте, чадца Божии,  
бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.  
Отец Иоанн (Крестьянкин)*

### 1

...Война окончилась. Внешний враг был побеждён, но жить без борьбы Советское государство не могло, и опять Церковь оказалась под прицелом. Особенно стали ополчаться на тех, в ком теплился светильник Духа. Отец Иоанн Крестьянкин чувствовал на себе «ласковое» внимание богоборческой власти, требующее от молодого священника «уступок невозможных». И «когда обстановка вокруг него накалилась особенно», он обратился за советом к Патриарху Алексию I, который ему твёрдо напомнил, что при рукоположении он дал ему служебник, а стало быть, всё, что там написано, надлежит выполнять, а всё, что находится за сим, — терпеть.

\* Журнальный вариант.

Наступила Пасха 1950 года. Уже была написана кандидатская диссертация в Духовной Академии на тему: «Преподобный Серафим Саровский чудотворец и его значение для русской религиозно-нравственной жизни того времени». Оставалось несколько дней до её защиты, но человеческая зависть сыграла с ним злую шутку. Его проповеди иногда имели политическую окраску, а поскольку настоятель храма завидовал авторитету и любви к батюшке многочисленных прихожан, то он решил использовать политическую прямоту отца Иоанна для заключения его в тюрьму и таким образом удалить его из храма. Находясь однажды в комнате, где были собраны святые Дивеевского монастыря, отец Иоанн услышал слова, к нему обращённые: «Порабощён телом, душу непорабощёну соблюди». О смысле слов долго думать не пришлось, так всё было прозрачно. Он свыше получил достоверное извещение о своём будущем. Позднее о готовящемся изменении в его жизни сообщил и его духовный отец, написавши ему, что обвинительное дело на него уже готово, но отложено до мая. Незадолго до ареста друг отца Иоанна по Духовной академии сообщил ему о невольно услышанном в алтаре Богоявленского собора недвусмысленном разговоре двух священников: «Крестьянкина сдавать надо», — говорил один. «Сдавать, только после Вознесения, а то сейчас его заменить некем», — отвечал другой. На второй день Светлой седмицы, входя во двор храма, встретил он сторожа, подметающего ступени, ведущие на паперть, пыль стояла столбом. На что батюшка заметил: «Мети, мети, скоро и меня так же выметут отсюда». Донос на священника Иоанна Крестьянкина в 1950 году написали трое: настоятель московского храма, в котором служил отец Иоанн, регент того же храма и протодьякон. Они обвиняли отца Иоанна в том, что он собирает вокруг себя молодёжь, не благословляет вступать в комсомол и ведёт антисоветскую агитацию.

В ночь с 29 на 30 апреля в Большом Козихинском переулке был произведён обыск, священнику Ивану Крестьянкину предъявили ордер на арест, который не стал для отца Иоанна неожиданностью. И этой же ночью «чёрный ворон» увёз его в застенки НКВД, где невидимая рука Промысла Божия благословила следователя МГБ Ивана Михайловича Жулидова писать дело № 3705 по обвинению Ивана Крестьянкина в том, что он священник Русской Православной Церкви. В своих лицах они противопоставили друг другу две непримиримые силы, Бог и враг Божий, Истина и ложь.

С тюрьмы на Лубянке начался новый этап жизни иерея Иоанна. Три московских узилища — Лубянку, Лефортово и Бу-

тырку — предстояло пройти ему с 30 апреля по 8 октября, учась жить в суровых условиях неволи и лжи, чтобы остаться на спасительном и светлом пути, который питает всё высокое и живое. Сам отец Иоанн скупо вспоминал об этом времени. Сохранилось малое его свидетельство о первом дне пребывания на Лубянке: «Когда меня взяли в тюрьму, оформление там долгое и тяжёлое: водят туда-сюда, и не знаешь, что ждёт тебя за следующей дверью. Обессиленный бессонной ночью и переживаниями первого знакомства с чекистами, я совершенно измучился. И вот завели меня в какую-то очередную камеру и ушли. Огляделся: голые стены, какое-то бетонное возвышение. Лёг я на этот выступ и уснул сном праведника. Пришли, удивлённо спрашивают: неужели ты не боишься? Отвечать не стал, но подумал: а чего мне бояться: Господь со мной». Первый протокол его допроса отмечен 29 числом, значит, новому арестанту не давали времени на раздумье. А вот как описывает своё водворение на Лубянку историк и этнограф Владимир Рафаилович Кабо, тогда 24-летний студент Московского университета, заключённый в тюрьму одновременно с отцом Иоанном. Он позднее встретился с ним в лагере на ОЛП (отдельном лагерном пункте) № 16, который находился вблизи перегона Чужга — Красково, там, где на современных топографических картах отмечено «урочище Чёрное».

«...Лестницы, проволочные сетки, коридоры... Руки назад, идите... Человек с голубыми погонами крепко держит меня за спиной... Лестницы, сетки, коридоры... Лифт... Крошечная комната, глухая, без окна, ярко освещённая электрической лампой, белёные стены, скамья... Потом я узнаю: это называется бокс. И вот я — один. Сколько проходит времени? Другая такая же комната, со столом. Человек в сером халате, лицо-маска, молчаливый и отчуждённый, как служитель потустороннего мира. Короткие команды, методичные, уверенные движения. Разденьтесь... Все мои вещи падают на пол... Снимает с брюк ремень, вытаскивает шнурки из ботинок, отрезает металлические крючки, распарывает подкладку. Приходит другой такой же в халате. Парикмахерской машинкой, теми же методичными, отработанными движениями, он снимает мне волосы с головы, и они тоже падают на пол... Потом меня куда-то ведут, приказывают сесть на стул, передо мной — ящик фотоаппарата: фас, профиль... Снимают отпечатки пальцев, плотно прижимая их к листу бумаги. Потом уводят, и я снова — один... Эти люди-призраки — как обитатели иного, кромешного мира... Потом опять куда-то ведут. Лестницы, сетки, коридоры,

двери... И этот странный, жуткий язык служителей ада, на котором они переговариваются между собой, когда ведут меня по всем этим лестницам и коридорам, — ни одного человеческого слова, только птичий клёкот, громкое перещёлкивание языком



или пальцами — большим и средним, и все эти звуки гулко разносятся под сводами и замирают вдали... Этой же ночью — чтобы не дать опомниться, собраться с мыслями, прямо из дома, ещё свежего, наивного — приводят в кабинет следователя. Он — за письменным столом, я — на безопасном расстоянии от него, у двери...» Отец Иоанн тоже помнил эти лестницы, коридоры, угрюмый гул шаркающих ног, тюремный колодец, где периодически звучало в его адрес суровое предупреждение: «Заключённый № 13431, гуляйте без задумчивости». Нет уже живых свидетелей того времени и тех событий, но следственное дело рассказывает о давно минувшем, о людях, о высоте нравственного подвига тех, кто всё упование возложил на Бога, и о глубине падения забывших о Нём. В начале следственного дела Крестьянкина Ивана Михайловича находятся протоколы обыска и квитанции на изъятые вещи и деньги. У отца Иоанна таковых не оказалось, но зато есть свидетельство о наличии в его библиотеке 347 книг религиозного содержания. При обыске их с сугубым вниманием просмотрели, но ни одной книги и даже брошюры, изобличающей его враждебное настроение к советскому строю, не нашлось.

В показаниях же свидетелей ясно просматривается, что следователь держал их на одном и очень коротком поводке. Им было поставлено несколько задач: Крестьянкин должен быть уличён в клевете на государственную систему через высказывания о гонении на Церковь, в измышлениях на советскую действительность, выражающихся в разговорах о падении морали и нравов, в разжигании религиозного фанатизма среди молодёжи и в его опасности для строя. Они должны были засвидетельствовать его популярность среди верующих. И даже вопросы о проповедях, доказывающих якобы антисоветские настроения подследственного,

были даны одни и те же всем троим. И «свидетели» заговорили об одном и том же, и одинаковыми словами. Очевидно, немного времени потратил следователь на их подготовку. Свидетельских показаний всего пять: три до ареста отца Иоанна, два даны позднее при очных ставках. Протоколов допросов было десять, число встреч со следователем установить невозможно. Не осталось протоколов записи допросов, но след этих негласных встреч отец Иоанн пронёс по жизни до конца: пальцы его правой руки были изувечены во время следствия.

Всё сфабрикованное дело Крестьянкина было абсурдно и нелепо. Причиной гонения на него стала именно проповедь веры, нравственной жизни, бескомпромиссная верность Церкви фактически вменялась ему в вину. Властные структуры без колебаний отправляли священника на гибель, а его запуганную паству надеялись вернуть в тепло-хладное состояние, граничащее с безверием. Огромное количество грамматических и других ошибок — это типично для протоколов следственных дел. Перевернутые имена, искажённые фамилии и обстоятельства — на всё это никто не обращал внимания по вполне понятным причинам: обычная малограмотность и спешка, но и подсознательное чувство, что всё это — ложь, имеющая лишь вспомогательное значение при расправе с намеченной жертвой.

Посуердствовали в своих показаниях и певчая, и отец-дьякон, и настоятель. А слова, произнесённые отцом Иоанном при служении в храме, выдернутые из контекста речи, искажая смысл, ложились на страницы следственного дела как действительные улики в планомерной антисоветской пропаганде. «Вы говорили эти слова?» — спрашивал следователь. «Да, говорил», — отвечал отец Иоанн. Сказать «нет» он не мог, потому что на самом деле произносил их. Объяснять же, что смысл им сказанного совершенно другой, было бесполезно. Кроме того, не смел отец Иоанн, даже ради собственной защиты, сказать свидетелю-сослужителю: «Вы лжётё!» — когда с целью окончательного изобличения преступника следователь назначил очную ставку с тем самым настоятелем храма. Отец Иоанн уже знал, что этот человек является причиной его ареста и страданий. Но когда настоятель вошёл в кабинет, отец Иоанн так обрадовался, увидев своего собрата-священника, с которым они множество раз вместе совершали Божественную литургию, что устремился по-священнически целованием приветствовать собрата. А тот, пришедший подтвердить надуманные показания, соскочил к его ногам в обмороке. В следственном

деле нет описания этого происшествия со свидетелем, но факт этот изобличился на удивление малым временем встречи и краткостью показаний допроса. Когда священника привели в чувство, исполняя требования следователя, он смог повторить только один факт своих предыдущих свидетельств: на большее у него не хватило сил: «В 1949 году, во время службы, среди прихожан Крестьянкин в общей исповеди, подчёркивая любовь друг к другу, существовавшую в довоенные времена, говорил, что в настоящее время жизнь проходит в пороках. Говорил, что у нас повсюду обман, ложь и предательство. Люди без стыда и совести предают друг друга. Молодёжь развращена, и женщины, и девушки ведут развратную жизнь».

И эти слова «геенским» огнём жгли его же душу. А для отца Иоанна нестерпимой пыткой было видеть нравственное падение служителя церкви. Он стал помогать несчастному: «Да-да, я это говорил. Да-да, говорил и это». Он соглашался со всем, не оправдываясь. Уж лучше самому пострадать, чем изобличать собрата во лжи и предательстве.

8 августа была и последняя встреча отца Иоанна со следователем И.М. Жулидовым. Вряд ли Жулидов не понимал, кого судит, кто перед ним стоит. Но, подобно Пилату, умыл он руки свои и не произнёс таких нужных душе его слов: «Я не нахожу в Нём вины». Его приговор был: «Повинен смерти!» Как это всё знакомо! Живёт евангельская история, живёт и в наши дни. «Кто хочет по Мне идти, да отвержется себя и возьмёт крест свой и по Мне грядёт». «...Каждому из нас дан крест нашей личной жизни, указан путь, и только на нём ты будешь полезен, именно на нём будешь делать дело по воле Божьей, а не по своей или ещё хуже — по вражьиной воле; именно для этого и даются нам от Бога нужные силы и разумение...»

9 августа для хлебного фургона широко распахнулись ворота Лефортовской тюрьмы. В этом безобидном на вид транспорте с Лубянки был доставлен единственный арестант — Крестьянкин, которого там ждала камера-одиночка. В этот же день в Лефортовской тюрьме НКГБ СССР в дело была вложена медицинская справка о том, что Крестьянкин Иван Михайлович практически здоров и к физическому труду годен. Обвинительное заключение было составлено 10 августа, утверждено 22 августа 1950 года. Крестьянкин Иван Михайлович обвинялся в преступлениях, предусмотренных статьёй 58/10, ч. 1, УК РСФСР, в том, что, «будучи враждебно настроенным к советскому строю, проводил

антисоветскую агитацию. Клеветнически отзывался о государственном строе, обрабатывал советских граждан в реакционном направлении». Предлагалась мера наказания — 7 лет ИТЛ с отбытием срока наказания в лагере строгого режима — Каргопольлаг. Следствие окончилось, но тюремные испытания для отца Иоанна продолжались ещё три месяца. Его уединение и безмолвие несколько раз нарушали «подсадные утки» и допросы, не оставившие о себе следов в протоколах. Не всё можно было предать огласке и в позднейшее время. Осталось краткое свидетельство отца Иоанна о пребывании в Лефортовской тюрьме: «На допросы, как правило, вызывали по ночам. Накануне кормили только селедкой, пить не давали. И вот ночью следователь наливает воду из графина в стакан, а ты, томимый жаждой и без сна несколько суток, стоишь перед ним, освещённый слепящим светом ламп». Что ещё хотело узнать следствие об этом светлом, прозрачном осуждённом? По отношению к следователю батюшка держался трёх «не»: не верь, не бойся, не проси. И это давало ему внутреннее спокойствие и твёрдость. В середине августа арестанта перевели в Бутырскую тюрьму в камеру с уголовниками. Там в молитве он провёл ещё полтора месяца, и здесь началось его знакомство с преступным миром, что очень помогло ему в дальнейшем.

3 октября 1950 года начальник Бутырской тюрьмы получил для исполнения наряд «об отправке осуждённого за антисоветскую агитацию Крестьянкина Ивана Михайловича в исправительно-трудовой лагерь сроком на семь лет, считая срок с 29 апреля 1950 года», в Архангельскую область, в Каргополь, лагерь МВД станции Ерцево Северной железной дороги, на разъезд «Чёрная речка».

8 октября 1950 года заключённого Крестьянкина с вещами вывели на тюремный двор. Там в строгом порядке уже стояла колонна арестантов, отправляющихся отбывать наказание. Ярославский вокзал. Столыпинские вагоны. Их заполнили до отказа. Не было ни провожающих, ни плачущих, ни сочувствующих. Только безгласный конвой отчуждённо стоял вдоль цепи отверженных. Кончился московский период жизни священника Иоанна Крестьянкина. Шесть дней прошли под монотонный перестук колёс, в тесноте и духоте табачного дыма. Кому-то приглянулось блестящее пенсне подслеповатого соседа. Отец Иоанн долго наугад шарил вокруг, но тщетно. Начались проблемы новой жизни. 14 октября распределительный пункт Каргопольлага принял даровую рабочую силу. Сам лагерь растянулся на 600 километров почти до

Архангельска. «Столица» его находилась на железнодорожном полустанке Ерцево, здесь обосновался лагерьный «штаб», где распределяли прибывших по ОЛП — отдельным лагерьным пунктам.

Ерцевская железная дорога с момента своего зарождения и до настоящего времени находится в ведении учреждений пенитенциарной системы. По состоянию на 2007 год эта железная дорога почти полностью разобрана. Небольшой сохранившийся участок (менее одной десятой части прежней протяжённости дороги) может быть разобран в близком будущем. Но её история неотделима от истории Каргопольского исправительно-трудового лагеря (Каргопольлага).

Сам посёлок возник в 1930-е годы как разъезд с целью обеспечения Москвы лесом. В 1937-м году создано Управление Каргопольского ИТЛ НКВД СССР, в котором было и Ерцевское отделение. Таким образом, на месте нынешнего посёлка Ерцево появилась первая «зона» (исправительно-трудовой лагерь). В 1938 году были открыты головные участки железнодорожной линии, ведущей от станции Ерцево в западном направлении.

Ерцевская железная дорога — ведомственная железнодорожная линия широкой колеи. Железнодорожная линия пролегла по территории Коношского и Каргопольского районов Архангельской области, Кирилловского района Вологодской области. Начальным пунктом железнодорожной линии являлся посёлок Ерцево, расположенный в Коношском районе Архангельской области, у станции Ерцево на магистральной железнодорожной линии Вологда — Коноша. Эта местность быстро стала лагерьным районом. От главной магистрали отходили ветки, ведущие в глубину лесных массивов. Вдоль магистрали и на ветках строились лагерьные пункты, вблизи которых заключённые производили заготовку леса. В 1940-м году в Ерцево перевели управление «Каргопольлага». А к началу войны в здешних лагерях содержалось больше 25 тысяч заключённых, 73,3 процента которых отбывали срок по 58-й, политической, статье. Расстояние от посёлка Ерцево до старинного города Каргополя, стоящего на реке Онеге, довольно значительное. Несмотря на это, прежнее название — Каргопольлаг — продолжало фигурировать в официальных документах. И согласно первоначальному плану именно он должен был стать центром лагерьного управления. В реальности статус «столицы» в 1940 году получил посёлок Ерцево. Было и другое, «кодовое» наименование — «Волна». В почтовом адресе значилось: «Коношский район, станция Ерцево, почтовый ящик 233».

20 дней провёл отец Иоанн в ожидании своего назначения. Жизненное странствие приостановилось. Томительно шло время. 25 октября 1950 года, будучи ещё в Ерцево, в день пятилетнего юбилея своей иерейской хиротонии он пишет письмо близким: «Я по милости Божией жив и здоров. Памятный для меня день провёл в духовной радости и мысленно-молитвенном общении со всеми вами. Слава Творцу за все Его благодеяния к нам, недостойным!» 3 ноября его на два дня перебросили в ОЛП № 5 в посёлок Волокша, потом ещё на месяц в ОЛП № 9, посёлок Чужга, и только 3 декабря определилось место его лагерной жизни на 2 года 9 месяцев и 9 дней. Отец Иоанн впоследствии вспоминал своё прибытие на ОЛП № 16 в посёлок Чёрный. Сам он всегда называл это место Чёрная Речка: так вошла она в его сознание и память по первому впечатлению. Север. Декабрь месяц. Настоящие морозы. Этапу надлежало пройти через неширокую, но поистине «чёрную» речку. Вот так вспоминал батюшка этот «переход»:

«Мост через бурлящий глубоко внизу поток был редко настлан шпалами, на которые narосли гребни льда. Очевидно, по этому настилу частенько проходили пополнения новых насельников. Конвой с собаками шёл по трапу рядом с этим зловещим мостом. Заключение, уставшие от долгого пути, с котомками за плечами прыгали по шпалам. Двое, шедших впереди, до меня, сорвались на глазах у всех, но это не обеспокоило охрану. Это были плановые убытки. Река принимала жертвы в свои ледяные объятия. Я прощался с жизнью. Зажмурился и без того невидящие глаза (очков-то не было), позвал на помощь святителя Николая: он уже не раз спасал меня. «Господи, благослови!» И оказался на другом конце настила на твёрдой земле. Сердце прикикло к защитнику. Он, только он перенёс меня, даруя жизнь». Страхи первого дня знакомства на этом не кончились. Когда подошли к проходной в зону, треск проснувшегося громкоговорителя спугнул тишину, заставив всех вздрогнуть. Сломанный допотопной техникой голос прорычал: «В этапе есть священник — к его волосам не прикасаться!» Кто мог знать, что это Божие веление о Своём слугителе? Ни во время следствия, хотя арестованных брили в момент поступления в тюрьму, ни в лагере никто не посягнул нарушить этот невесть откуда пришедший приказ. Ожидание очередной грядущей беды на мгновение мелькнуло в сознании отца Иоанна и исчезло, поглощённое реальностью дальнейших событий. Этап уже растянулся по плацу, и началось распределение по командам. Ещё один вра-

жий набег пришлось испытать ему в этот день. Когда выкликнули фамилию Крестьянкина, уголовники вдруг дружно грохнули: «Это наш батя, наш!» В ответ бесстрастный голос произнёс: «Ну, раз он ваш, то с вами и пойдёт». И перекличка двинулась дальше, оставив Крестьянкина в тревожном ожидании. Когда всех распределили, отца Иоанна отправили в барак на 300 человек с трёхъярусными нарами, где преимущественно жили политзаключённые.

Первый же лагерный день показал отцу Иоанну, что такое «хождение по водам», когда идти надо только верой, ибо ты человек незащищённый. Начиналась жизнь по неведомым ему ранее законам. В Бутырской тюрьме он впервые встретился с той средой, в которой Промысл определял его жить. В тюрьме даже самые заматерелые уголовники были связаны незримыми цепями порядков этого особого учреждения. В лагере всё менялось, здесь они чувствовали себя хозяевами, их законы вступали в жизнь во всей силе. Этот лагерь строгого режима стал новой ступенью испытаний для отца Иоанна, и особые обстоятельства продиктовали ему образ жизни в Боге в этих исключительных условиях: «Тебя лишили Храма, стань им сам, тебя Промысл Божий послал в среду не ведающих Бога, покажи им Божии дары: теплоту искренней любви, простоту и глубину благоговения и смирения».

Отец Иоанн так вспоминал о своей работе на этом лесоповале: «Лагерники подпиливали, а в мою задачу входило повиснуть на дереве и повалить его в нужном направлении. И вот я висну на нём да молитву шепчу. А со стороны кричат: «Давай, батя, давай!» — а дерево ни с места. Вот такая была школа молитвы». Незабываемым впечатлением осталась в памяти отца Иоанна первая лагерная баня, и он не раз вспоминал эту трагикомичную историю: «Получив неподъёмную деревянную шайку и обмылок, все стали смывать с себя поты тюремных скитаний. Я это мыло и воду использовал, чтобы намылить голову: мне-то шевелюру мою оставили. Подхожу к баку с водой, а возле него страж из уголовников. Прошу: «Дайте водички ещё». Отвечает: «Не положено». — «Что же я буду делать?» — «А что хочешь». Неожиданно из соседнего бака слышу голос: в нём, оказывается, кто-то моется. «Батя, ты чего там? Иди сюда!» — это вор в законе голос подал. Иду. «Давай шайку, — начерпал, — используешь, приходи ещё». Так я первый раз помылся. Остальным пришлось ходить намыленными до следующей бани».

Ко всему этому следует добавить то, как из «хлебобрезки» в столовую носили на подносе хлеб под охраною самых здоровых

бригадников с дрынами: иначе вырвут, собьют, расхватают, и то, как на самом выходе из посылочного отделения, посылки выбивали из рук. И постоянную тревогу: не отнимет ли начальство выходного дня. А потом наложить на это вечное лагерное непостоянство жизни и судорогу перемен. То слухи об этапе, то сам этап, то какую-то тёмную внезапную тасовку «контингентов», то переброски «в интересах производства», то «комиссовки», то инвентаризацию имущества, то внезапные ночные обыски с раздеванием и рассматриванием всего скудного барахла. А отдельные доскональные обыски к 1 Мая и 7 Ноября, а три раза в месяц губительные и разорительные бани. И ещё, потом — постоянную цепкую и порой мучительную неотделимость от бригады, когда необходимо круглые сутки, круглый год и весь протяжный срок действовать не как решил ты, а как надо бригаде...

Сначала он ходил в подряснике. Когда же подрясник «измочалился», пришлось облачиться в «одежду поругания» — грязную тюремную робу. Как у всех. Батюшка вспоминал, что ему от подобной перемены стало даже удобнее. Незаметнее.

Стране нужно было много леса, а значит, и много рабочих рук. Лесоповал — вот главное, чем занимались невольные обитатели Каргопольлага. На десятки, быть может, сотни километров от Ерцево тянулись в разных направлениях через леса и топи нити железных дорог. А к ним, как бусины, были привязаны ОЛП — отдельные лагерные пункты, обнесённые высокими заборами жилые зоны с бараками для заключённых внутри. Эти бараки были для них местом недолгого убежища от непогоды, местом короткого отдыха от изнурительного труда, местом, где можно на время, отвернувшись, уткнуться в ворот одежды, закрыть глаза, словно спрятавшись ото всех. А возможно, припомнив ту прежнюю недавнюю жизнь, из которой по разным обстоятельствам, с унижениями и издевательствами, они были вырваны и брошены в этот ад, забыть в тревожном сне.

Бараки, в которых вместо электричества были где керосиновые лампы, где лучины или фитили из ваты, обмакнутые в рыбий жир. Нары в два-три этажа и признак роскоши — «вагонка». Доски чаще всего голые, нет на них ничего: на иных командировках воровали настолько подчистую, а потом промывали через «вольных», что уже казённого ничего не выдавали и своего в бараках ничего не держали. На работу носили котелки и кружки, даже вещмешки за спиной, надевали на шею одеяла, у кого были, либо относили все свои вещи к знакомым «придуркам» в охраняе-

мый барак. А возвращались после работы, промёрзшие и мокрые, за ночь бы высушить всё холодное и сырое рабочее — так раздетым ведь замёрзнешь на голом. Так и сушили на себе. В зимние ночи к стенам бараков примерзали шапки, у женщин — волосы. Даже лапти прятали под головы, чтоб не украли их с ног. Посреди барака стояла бензиновая бочка, пробитая под печку, и хорошо, если она была раскалена — тогда парной портяночный дух застилал весь барак, — а то, бывало, и не горели в ней дрова. К приходу заключённых огромный барак должен быть натоплен, подметён и убран. И если дежурный не успеет — надзиратель направит в карцер, а заключённые избыют. И если бы только это. Самым страшным был тот тлетворный дух лагерной обстановки, создаваемый уголовниками, который всех держал в постоянном ожидании беды. Уголовники не работали, это была лагерная элита. Но их нормы обязаны были выполнять те, кто не принадлежал к их клану. Кровавые разборки внутри группировок не различали правых и виноватых. Человеческая жизнь не стоила ни гроша. Уголовники чувствовали себя хозяевами. Если начальство било для воспитания страха, то уголовники избивали «отводя душу», когда вся скопившаяся ненависть и жестокость выходили наружу. Били кого-нибудь каждый день, били умеючи, с удовольствием и радостью, в основном политических. Для уголовников это было просто развлечением.

Лагерное начальство не конфликтовало с ними, а использовало в своих целях. Отцу Иоанну, как и многим сокамерникам, предстояло учиться жить, чтобы выжить. Зловонная матерщина была постоянным фоном лагерных будней, укрыться от неё было нелегко. Иногда то тут, то там раздавались взрывы какого-то утробного смеха, больше похожие на страдальческие вопли. А то, перекрывая гул, в него камнем падало злое слово, предвещающее конфликт и кровавую разборку.

А за дощатыми стенами барака темнота ночи и жестокий мороз сковывали всё, кроме ветра. Ветер нёс снежные заряды, которые, крутясь, разрывались в воздухе, превращались в облака мелкого колючего снега. Налетая на препятствия, ветер кидал клочья снега, подхватывал с земли новые и опять рвался куда-то вперёд. Иногда внезапно наступало затишье, и тогда среди темноты ночи высвечивалось на земле гигантское пятно света. В полосах света лежал город, раскинувшийся в низине. Бараки, бараки и бараки покрывали землю. Вышки со стоящими на них прожекторами и часовыми уходили за горизонт. Струны колючей проволоки, на-

тянутые от столба к столбу, образовывали несколько заградительных рядов, между которыми лежали полосы ослепительного света от прожекторов, а среди рядов колючей проволоки лениво бродили сторожевые собаки. Лучи прожекторов срывались с некоторых вышек и бросались на землю, скользили по ней, взбирались на крыши бараков, падали с них и пробегали по территории лагеря, окружённого проволокой. Часть прожекторов вылизывала пространство за пределами лагеря и, обежав определённый сектор, возвращалась к рядам колючей проволоки, чтобы через несколько мгновений начать повторный бег. Солдаты с автоматами, стоя на вышках, непрерывно просматривали пространство между рядами проволочных заграждений. Затишье длилось недолго: ветер опять внезапно срывался, и всё снова ревело, гудело, выло, колючий снег заволакивал яркое пятно света, и темнота охватывала долину. Лагерь особого назначения ещё спал, когда вдруг раздавался удар по висевшему рельсу, сначала один, у входа в лагерь, а потом под ударами уже звенели стальные рельсы в разных местах лагеря.

Прожекторы на вышках судорожно начинали метаться, ворота лагеря открывались, и в зону один за другим въезжали крытые грузовики с «воспитателями», надзирателями, работниками по режиму и вольнонаёмными. Машины разъезжались по территории лагеря, останавливались у бараков, из грузовиков выскакивали люди и по четыре человека шли к ним, обходили со всех сторон, проверяли сохранность решёток на окнах, наличие замков на дверях, отсутствие подкопов стен или других признаков, свидетельствующих о побегах заключённых. Осмотрев и убедившись, что ничего не повреждено, надзиратели отпирали двери бараков, и в это время прожекторы ещё более судорожно продолжали метаться, а часовые внимательно оглядывали с вышек лагерь. Собаки между рядами проволоки начинали нервно обегать свой участок. Темнота медленно светлела, ночь постепенно переходила в серый северный зимний рассвет, но ветер по-прежнему рвал жёсткий и колючий снег, кидал его в воздух, выл и гудел, встречаясь с малейшим препятствием, и нёс его всё дальше и дальше. Лагерь особого назначения, состоящий из тысяч заключённых, оживал, начиная свой трудовой день в шесть утра. Хлопали двери бараков, заключённые выбегали на холод и пронизывающий ветер — строились для проверки. Раздавались крики, ругань, кого-то, как всегда, били.

А за пределами зоны лагеря, недалеко от него, горело несколько костров, пламя их то вспыхивало, то затухало. Костры горе-

ли и днём, и ночью непрерывно, отогревая мёрзлую землю для братских могил, в которых хоронили умерших заключённых. Лагерь ежедневно посылал туда сотни своих жителей, отдавая этим дань установленному лагерному режиму. Строясь побригадно в колонны, со страхом перед неизвестностью наступившего дня, шли они на раздачу «пайки» и оттуда понуро, под брань конвоя, пробираясь сквозь снег, следовали до делянок, не ограждённых забором участков, под строгим наблюдением с вышек вооружённой охраны. Делянки были разбросаны вокруг каждого ОЛП, где пилили, валили и разделявали лес. Заготовленный лес трелевали к железной дороге и там грузили на платформы. Это был тяжёлый физический труд, всё больше ручной, зимой от зари до зари, когда сильный мороз и порывистый ветер были страшны не только заключённым, но и сопровождающей их тепло одетой охране. Выполняемая заключёнными работа была нужна, но она пугала каждого непонятностью требований, бессмысленной жестокостью и непреодолимыми трудностями, создаваемыми лагерным начальством. Работа становилась невыносимой, мучительной и страшной в этом типичном советском лагере, с его изнурительным режимом жизни, с невероятной усталостью и глубоким истощением людей, где всё делалось для того, чтобы медленно привести их к смерти.

Расстояние от лесоповала до лагеря в среднем составляло шесть километров, «эзки» весь день работали под открытым небом, по пояс в снегу. Вымокшие до нитки, голодные и нечеловечески усталые. «Я не встретил в лагере никого, — свидетельствует в своих мемуарах поляк Герлинг-Грудзинский, — кто проработал бы в лесу дольше двух лет. Обычно они уже через год уходили с неизлечимым пороком сердца в бригады, занятые на несколько более лёгких работах, а оттуда на смертельную «пенсию» — в «мертвецкую».

Среди заключённых других лагерей бытовало мнение, что лагерь, основной профиль которого — лесозаготовка, хорошее место. Однако у попавших в Каргопольлаг этот взгляд очень быстро менялся. Актриса Татьяна Окуневская пишет: «Ни Джекказган, ни 36-й, ни культбригада — ничто. Вот он, настоящий лагерь... Совсем на болоте, летом, когда идёшь по трапам, они колышутся. Голо. Пусто. Ни деревца. Здесь раньше был лесоповал, а теперь всё вырубил, и лес где-то за пять километров, и никаких волокуш — пешком». И сотни таких лагерей, подобно сыпи, были разбросаны по всему лицу советской страны.

И вот в такой обстановке, во тьме неволи, в ярме непосильного труда потерялись первые годы жизни заключённого Крестьянкина. Что видел он за это время, что слышал, что предчувствовал? Тайна. Кругом был разлит яд греха и смрадных болезней души и тела, отравляющих всё вокруг. Сердце священника оплакивало непостижимые пути падения человека, но всё увидело и всё приняло покаянным воплем за всех как за собственный, личный грех. Его молитва стала светильником посреди этой смертной тьмы. Молитвой он отдавал Богу все обстоятельства каждодневной лагерной жизни, себя и всех окружающих. Сам же сочувственным вниманием устремлялся утешать и ободрять пребывавших во мгле уныния. Размышляя о своём прошлом, отец Иоанн говорил: «Помышлял ли я о таком проявлении воли Божией? Конечно, нет. А Господь переводит меня на другое послушание — в заключение, к новому руководству, к новой пастве. Так, помимо нашего понимания и осмысливания, ведёт Господь по жизни нашу утлую лодчонку своей твёрдой рукой». Человек, укоренённый в вере, призывался к жизненному подвигу на Крест, и в нём «безумие» нездешнего мира должно было противостоять тому, что кипело вокруг, за что грызлись обезумевшие в безбожии люди, где был забыт не только Бог, но и само человеческое достоинство.

«...И после этого сам собою вставал вопрос перед каждым из нас и пред всеми нами вместе: так кто же мы? Кто же мы? Есть ли у нас живая вера во Христа? Творим ли мы дела для Бога, ради Бога и во славу Божию или работаем страстям и самости своей? Эти благочестивые размышления должны заставить всех нас глубоко призадуматься над истинным смыслом жизни, особенно в это смутное время и в наши чрезвычайно тревожные дни. И когда мы с вами чаще будем напоминать себе об этом, тогда это будет ближе нашей душе, нашему сердцу. Поспешим же на зов Божией Любви. Ради чего мы живём на земле? Ради того, чтобы наследовать нескончаемую вечную жизнь...»

Русский священник был отправлен миссионером в земной ад, чтобы тихостью, спокойствием и кротостью принести туда память о Божественной любви. Сам отец Иоанн постигал истину в том, что христианин — всегда воин, что нет ему покоя, он всегда в борьбе с собой, со злом. А награда ему — чистая высокая душа и ничего больше...

В его письмах лагерного периода, сохранённых духовными чадами, нет ни вздохов, ни жалоб, только однажды в октябре 1951 года, когда к концу приближался первый год его работы на лесоповале, в письме мелькнуло: «Я во всём, кроме праведности, подобен Иову». Осмысливая этот тяжкий во всех отношениях период жизни, он писал на волю скорбящим и унывающим до ропота чадам: «Вся земная жизнь наша — непрерывное чередование многих и разнообразных радостей и скорбей, происходящих исключительно по воле Божией, соответственных нашим духовным и телесным силам. При всех скорбных обстоятельствах жизни, по совету преподобного Серафима, необходимо чаще — с должным вниманием и вдумчивостью — читать книгу праведного Иова, обратив своё внимание особенно на 2 главу. Тогда в сердце и устах наших не будет ни одного слова ропота на Господа Бога. А душа ваша, покоряясь во всём воле своего Небесного Отца, будет неустанно восхвалять Его следующими словами: «Буди имя Господне благословенно отныне и до века».

И ещё одна устрашающая туча нависла над лагерным трудником: он стал катастрофически терять зрение. И не в это ли время, когда для него стал тускнеть дневной свет, Господь приоткрыл его зрение духовное, дал ощутимо соприкоснуться миру иному? «Состояние моего зрения требует всё более и более строгого режима. Пишу и читаю только с помощью лупы, так как никакими очками моя близорукость не корректируется. Но при всех моих скорбях я постоянно благодушествоую и преизобилую духовной радостью, делясь ею со всеми, ищущими её. За всё благодарю Господа, укрепляющего и утешающего меня, раба Своего». Кратко, очень кратко и прикровенно говорит отец Иоанн о внутреннем, щадя душевный покой своих чад, он опускал повествование о суровой и часто жестокой по-





вседневности. Так, лесоповал стал для отца Иоанна местом, где духовно ощутил он Божие присутствие и особенную Его помощь, где во мрак, обступивший его душу и обессиленное тело, вошёл Господь, преобразив Собою увядающую жизнь. И все скорби, в том числе и лагерные, стали восприниматься им как дар Божий. Ожили и наполнились реальным содержанием слова «сила Божия в немощи совершается». И стал он послушником Промысла Божия на всю оставшуюся жизнь.

Там, в земном аду, свершилось духовное становление отца Иоанна Крестьянкина. С этого времени его жизнь во всей полноте её проявлений стала служением Богу, претворив в служение и обычное человеческое делание. И в нём самом всё освятилось и просветлело от озарившего его Невечернего Света, он встал на свой сокровенный путь. Напряжённый быт лагерной жизни, где так часто являлась внезапная и бессмысленная гибель, не позволял строить планы на будущее, учил, всецело отдаваясь Богу, молиться. Иисусова молитва позволяла обнимать христианской жалостью и любовью всех и всё сущее вокруг. Сам, будучи заключённым в лагере, он видел в окружающих страшный губительный плен — плен души, и им некогда было подумать о добром, осмыслить свои поступки и слова в свете Божественной Истины, у всех было своё дело, более для них важное в настоящее время.

Отец Иоанн видел, что добро и сама мысль о добре становились здесь чужды. Истина прогонялась из души ни с чем. А голос совести постепенно ослабевал. Это первый этап истребления Бога в душе. И с него начиналась болезнь души. Отмахивание души от зова Божьего, переход в её ожесточение, когда начинали раздражать упрёки совести, всё святое и всё Божие. Упиваясь сладостью порока, человек перестаёт видеть бездну, разверзающуюся под его ногами. Человек с цинизмом топтал святыню, бесчестил её, как будто сила зла, уже возросшая в человеке, боялась этой святыни.

И после этого душа опускалась на следующую ступень самоистребления. Святое совсем не допускалось в душу. Зов совести прекращался. Гас свет, в человеке зарождалось и начинало хозяйничать животное, звериное, плотское. Это время полного духовного закоснения. И вот в душе, освободившейся от сторожевой башни — совести, развёртывался бесшабашный, неудержимый разгул зла. Зло воцарилось в человеке, а человек становится жалким послушным рабом зла. В угаре этого кружения человек уже не замечал тьмы вокруг себя, разложения и смрада, он стремительно летел к пропасти, к гибели конечной. Теперь зло воцарилось в

душе безраздельно и властно. А со злом воцарялась тьма, разложение, гибель, смерть... Смерть, естественно, только довершала дело. Страшна картина гибели души, смерти всего живого. Ведь именно с гибели души человека начиналась гибель целого народа.

А контингент людей в лагере был самый разнообразный, кого только здесь не было: учёный и студент с клеймом политзаключённого, колхозники от сохи и работяги от станка, был даже художник, после войны прибыло немало католиков из Прибалтики и из Западной Украины, были и священнослужители. Но самым распространённым был уголовный элемент. Они, по меткому официальному определению, «социально близкие» советской власти, составляли лагерную элиту, на которую негласно, но и не скрывая этого, опиралось лагерное начальство.

Невозможно представить, какую страшную реальность воплощённого на земле ада лагерной жизни сталинских времён переживали люди там, в бараках, запертые на ночь снаружи, в атмосфере безраздельно господствующего зла. Резня была делом обыденным и на ОЛП «Чёрный», и тем, кто сам не попадал в стихию кровавых разборок, приходилось видеть, как вытаскивают из барак вонючие трупы. Отец Иоанн только однажды, вспоминая то время, изменившись в лице, произнёс с содроганием: «Несут его, он уже мёртвый, а лес рук тянется ещё и ещё вонзить нож, чтобы утолить разбушевавшуюся в душе стихию зла». Не осталось свидетелей о лагерной жизни отца Иоанна на ОЛП «Чёрный», но сохранились его письма двум матушкам, которые прошли по жизни за своим духовным отцом, начиная со дня его рукоположения.

Иркутянка Галина Викторовна Черепанова и москвичка, вдова Матрона Георгиевна Ветвицкая самоотверженно подняли с ним ношу его страдальческих лет, разделили тревоги страннической жизни на приходах, служа ему от трудов рук своих. Через них отец Иоанн связывался с духовными чадами и друзьями. Они стали главными помощницами батюшки в период заключения: собирали посылки, выполняли поручения, ездили в лагерь. Только так, по немногим словам, можно было догадаться об особых обстоятельствах и переживаниях батюшки. 28 августа 1951 года отец Иоанн оставался ещё на лесоповале: «Я ещё продолжаю работать в прежней должности. Всё будущее должно быть предоставлено водительству Промысла Божия. Слава Всевышнему за все Его благодеяния», — пишет он.

Один журналист, в те же годы бывший в заключении на Чёрной Речке, в своей книге «Тяжёлые годы» напишет о встрече с отцом

Иоанном: «Когда я вошёл в барак, мне бросился в глаза священник с длинными вьющимися волосами, с бледным одухотворённым лицом. Он взглянул на меня и предложил с ним покушать. Мы сдружились. Были мы на лесозаготовках, и я видел, как громадное дерево взвалили ему на плечо, и он нёс его, шепча молитву».

Окончился для арестанта Крестьянкина первый лагерный 1951 год. Он завершился тем, что Евангельское учение светом своим вплелось и пронзило душу. Сугубые трудности послушания, привыкание к среде и обстановке — всё было позади. Но до конца заключения остались с отцом Иоанном постоянное напряжение от непредсказуемости лагерной жизни, забота о своём духовном делании, о чадах и о тех, кто был рядом и нуждался в поддержке. Познав особенности пребывания на Кресте лагерной жизни, отец Иоанн применился к обстановке, активно помогали ему в этом и мирносоисцы.

19 февраля 1952 года он неожиданно сообщает своим адресатам: «В настоящее время я жив и здоров, но зрение моё очень слабое и отрицательно сказывается на общем состоянии моего слабого организма. Имеется надежда на перемену рода моей работы в ближайшее время, которая должна будет облегчить напряжение моих больных глаз, потому что она будет протекать — в большей части — при естественном дневном освещении».

Ровно через месяц, 19 марта, отца Иоанна перевели на работу в бухгалтерию и поселили в барак, который назывался административным. Собственно говоря, это был даже не барак, а четверть огромного барака: ещё одну четверть его занимала бухгалтерия, а в двух других жили рабочие лесозаготовительных бригад. И они же жили ещё в нескольких таких же бараках. А кроме того, на территории зоны были расположены столовая, баня, санчасть со стационаром для лежачих больных (там жил и врач-заключённый), каптёрка, где хранились вещи заключённых, ларёк, где они могли купить на свои деньги кое-какие продукты, и, наконец, ещё одно здание, а в нём — КВЧ, кабинет кума, комната, где собирались нормировщики с бригадирами и устраивались производственные совещания, и плановая часть. КВЧ — это культурно-воспитательная часть, которая, однако, никого не воспитывала, да и к культуре имела отдалённое отношение. Там, правда, был шкаф с книгами, а среди них — записки трёх-четырёх русских путешественников, изданные Географгизом. Заведовал культурно-воспитательной частью заключённый — человек сурового вида в гимнастёрке и сапогах, явно — бывший «гебешник»,

в чём-то проштрафившийся и угодивший в лагерь. Недаром он работал по совместительству и дневальным у кума: так заключённые называли оперуполномоченного — представителя органов госбезопасности. Его кабинет — святая святых, куда не было доступа посторонним, куда стекались доносы лагерных стукачей и куда могли вызвать на допрос.

В бараке для административно-технических работников жили бухгалтера, нормировщики, экономисты, заведующий столовой, пожарник, который весь день учился играть на баяне, и другие представители тех избранных профессий, где надо работать головой. Здесь, в лагере, их называют «придурками». В вопросе о происхождении этого слова нет единодушия, известны, по крайней мере, две версии: по одной из них оно происходит от слова «придуриваться», то есть притворяться не способным к физическому труду, по другой — работать при дураке, то есть при вольнонаёмном начальнике. Внутри бараков были двухэтажные нары-вагонки с тумбочками между ними.

Сохранилось воспоминание об отце Иоанне насельника того же ОЛП Владимира Рафаиловича Кабо — этнографа и писателя: «Я прочитал Библию — всю, от начала до конца. Эту книгу книг дал мне Иван Михайлович Крестьянкин. Познакомился я с ним весной 1952 года, когда отца Иоанна сняли по состоянию здоровья с общих работ. Помню, как он шёл своей лёгкой стремительной походкой — не шёл, а летел — по деревянным мосткам в наш барак, в своей аккуратной чёрной куртке, застёгнутой на все пуговицы. У него были длинные чёрные волосы, была борода, и в волосах кое-где блестела начинающаяся седина. Его бледное тонкое лицо было устремлено куда-то вперёд и вверх. Особенно поразили меня его глаза, вдохновенные глаза духовидца. Он был чем-то похож на философа Владимира Соловьёва, каким мы знаем его по сохранившимся портретам. Иван Михайлович — так звали его в нашем лагерном быту, так звал его и я — поселился рядом со мной, на соседней «вагонке». Мы быстро и прочно сблизились. Одно время даже ели вместе, что в лагере считается признаком взаимной симпатии. Когда он говорил с вами, его глаза, всё его лицо излучали любовь и доброту. И в том, что он говорил, были внимание и участие, могло прозвучать и отеческое наставление, скрашенное мягким юмором. Он любил шутку, и в его манерах было что-то от старого русского интеллигента. Много и подолгу беседовали. Его влияние на меня было очень велико. Этому способствовало, конечно, и то, что задолго до встречи с ним я уже

был как бы подготовлен к ней, а тюрьма и лагерь ещё усилили мой интерес к религии, обострили во мне религиозное чувство. В словах его никогда не было ни укора, ни обличения, и тем назидательнее они действовали на меня. Я встречал немало православных священников и мирян, но, кажется, ни в одном из них не проявилась с такой полнотой и силой глубочайшая сущность христианства, выраженная в простых словах: «Бог есть любовь».

Любовь к Богу и к людям — вот что определяло всё его поведение, светилось в его глазах, вот о чём говорил он весь, летящий, устремлённый вперёд. К нему все без исключения относились хорошо. Я не могу припомнить, что бы было как-то иначе. Этот необыкновенный человек обладал способностью привлекать людей, возбуждать к себе любовь. И это потому, что он сам любил людей. В каждом человеке он стремился разглядеть его духовную природу. Достоинство личности было для него высшей ценностью. Человека, способного принять и понести в себе Божественный свет, он видел и в закоренелом преступнике. Эту черту отца Иоанна я наблюдал много раз, замечая, с какой открытостью, любовью он говорит с профессиональным вором, с человеком, несущим на себе тяжёлый груз прошлых преступлений. В этом, я думаю, и был величайший смысл его пребывания в лагере. Блатные, и те были к нему снисходительны, но для них это было почти проявление любви. А вот и пример их отношения к нему. Однажды начальство поручило отцу Иоанну раздавать зарплату заключённым. Отказаться было невозможно. Лагерные послушания выбору и обсуждению не подлежали. И случилось то, чего и надо было опасаться: чемодан с деньгами у него похитили. Наказание известное — суд и добавление срока. Весть о его беде зашелестела по ОЛП. Через день чемодан с деньгами ему вернули полностью. Принёс его сам старшой, тогда была власть блатных. Не было у отца Иоанна лицепрятия, утешая скорбящих и болящих, он не обходил ласковым словом и гостинцами из посылок ни уголовников, ни шпану. Это продолжалось до тех пор, пока не пришёл к нему их глава с приказом: «Вот что, батя, меня можешь угощать, а им, бесенятам (так величал он подчинённых), ни-ни». Видимо, батюшкина благотворительность нарушала внутренний порядок и дисциплину в их среде».

Времена менялись. Зловещие вышки и колючая проволока лагерной ограды, солёный пот в глазах и бесконечные стволы и пни умирающих под вой пил деревьев — это двухлетнее марево смерти стало рассеиваться и будто бы уступать место жизни. Что запомнилось ему об этом времени? Может, молитва, под самым

потолком на третьем ярусе нар или тайные воскресные службы в заброшенном недостроенном бараке, а может, радость в моменты, когда уважение к священнику нежданно-негаданно просыпалось в душах главарей лагерной шпаны.

Память цепко держала всё, что было связано с уже двухлетним пребыванием Крестьянкина Ивана Михайловича, осуждённого на семь лет за антисоветскую агитацию, в ОЛП № 16 посёлка «Чёрный», близ станции Ерцево Северной железной дороги в Каргапольском исправительно-трудовом лагере МВД.

Но что касается тюремной истории отца Иоанна, то всегда поражало, как он отзывался о времени, проведённом в лагерях. «Жизнь наша подобна плаванию, — говорил он. — А всё происходящее в ней всегда совершается по благовому Промыслу Божию». И ещё он говорил, что это были самые счастливые годы его жизни. «Потому что Бог был рядом!» — с восторгом объяснял батюшка. Хотя, без сомнения, отдавал себе отчёт в том, что до конца мы понять его не сможем. «Почему-то не помню ничего плохого, — говорил он о лагере. — Только помню: небо отверсто, и Ангелы поют в небесах! Сейчас такой молитвы у меня нет...»

И через много лет, когда, по признаниям Владимира Рафаиловича Кабо, жизнь его уже клонилась к закату, он с благодарностью вспоминал то далёкое прошлое, отца Иоанна, дарованного ему Богом в юности, и признавал, что два человека всегда шли с ним рядом по жизненному пути: это его мама и отец Иоанн Крестьянкин.

#### 4

Была осень 1952 года, когда по состоянию здоровья, связанному с ухудшением зрения, отец Иоанн был освобождён от канцелярской работы и отправлен в дезинфекционную камеру, выжаривать от паразитов рабочую одежду. И здесь он не только должен был проводить «санитарную обработку», то есть многочасовое пропаривание одежды заключённых в особой камере при очень высокой температуре, но и как инвалид помогать своим участием в повседневном труде: чистить снег на прилегающей территории и выполнять различные другие мелкие, вполне посильные послушания. Особую радость вызывал тот факт, что лагерное начальство разрешило отцу Иоанну уйти из общего барака и поселиться в землянке, рядом с местом работы.

«...Спешу поделиться с вами своей духовной радостью, которой меня удостоил сам Господь. В этом году, впервые за всё время

моего пребывания в изгнании, я имел возможность — хотя отчасти — встретить великий праздник Рождества Христова в более подходящей обстановке, которая возможна в условиях лагерной жизни. Своим духом и сердцем я, конечно, был в храме Божиим и среди своих духовных детей, с которыми в продолжение пяти недавних лет я, недостойный, проводил в молитве эти святые незабываемые ночи. В своём же небольшом, дарованном мне Богом уютном уголке я в Святую полночь стоял в коленапреклонённом состоянии на молитве к Господу. И за себя, многогрешного, за всех моих духовных чад, за всех заключённых (тружеников и мучеников) и за весь мир, значительная часть которого была погружена в глубокий сон, позабыв Творца и Его святую волю. По окончании молитвы я вышел во двор и при нежном свете луны и мерцании множества звёзд, при полной ночной тишине я — убогий изгнанник — призвал на всех Божие благословение. А также послал мысленное приветствие с Высокопраздничным праздником, нисшедшее из глубины моего сердца и быстро полетевшее в сердца всех любящих и помнящих меня, недостойного.

После этого была зажжена ёлка и началась праздничная трапеза вдвоём. Мы были объяты невыразимым простыми словами духовным восторгом и праздничным ликованием. В продолжение всего первого дня праздника я почти непрерывно принимал приветствия от верующих и сам взаимно приветствовал и утешал их. Посылаю ещё поздравительных открыток, изготовленных художником по моей просьбе. Пусть порадуются дети Божии. И вам же, мои дети, посылаю веточку со своей прекрасной ёлочки...» Так писал отец Иоанн о праздновании Рождества после двух лет его заключения из маленькой кладовки-землянки, расположенной при дезинфекционной камере, в которой ему и ещё одному немолдому заключённому разрешили поселиться после её ремонта и оборудования с конца ноября 1952 года.

С воли прислали краски для пола, и кладовка благодаря их стараниям превратилось в чистую комнату. Жить в новом, довольно уютном уголке было гораздо спокойнее и тише, чем в тошнотворном бараке. Оказаться в комнате можно было, спустившись по ступеням. Она слабо освещалась через окно под потолком. Стены были обшиты деревянными плахами, в комнате находились двухэтажные нары, столик, тумбочка. Икон на стенах не было, чтобы не волновать начальство. Кругом царили необыкновенная чистота, порядок и уют. Иван Михайлович, в каких бы условиях ни находился, умел создать вокруг себя особую атмосферу опрятности

и «благолепия». Комната постепенно стала напоминать собой монашескую скромную келью, которая благодаря его неустанным заботам приобретала благоприятный вид. Занавески, клеёнка, а главное — ёлочка придали этому уголку ещё более особую атмосферу праздника и уюта, воскресив в памяти недавнее прошлое и находя в этом утешение. Среди общей обстановки для проживания это был просто райский уголок. Отец Иоанн молился, чтобы Господь проявил к нему, грешному, милость и продлил его пребывание в том месте. Эта землянка, вырытая неизвестно кем и когда на территории лагеря, а сейчас превратившаяся стараниями отца Иоанна в настоящую подземную келью, — явление в условиях советского концлагеря поразительное. Можно только представить, что значила после барака с запахами прелой одежды, человеческого пота, испражнений, карболки, криками надзирателей, потрясающей душу руганью, человеческими страданиями и смрадом «уголовщины» возможность такого уединения для человека, который с юных лет чувствовал в себе призвание к монашескому образу жизни.

«Что касается моего физического зрения, то оно, конечно, не улучшается, а только постепенно ухудшается, — пишет он в своих письмах родным и знакомым, — но ничего крайне опасного не происходит. По болезни глаз я освобождён от бухгалтерской и канцелярской работы. Много писать никому не обещаю, но по милости Божией надеюсь, конечно, не очень часто, я буду иметь возможность писать вам своею собственной Иоанновой рукою не два-три слова, а немного больше. Высылаю вам, дорогие мои, букетик засушенных цветов в знак моей сердечной благодарности за все ваши заботы обо мне, недостойном, и обо всех, находящихся со мною».

К весне возле нового жилья появился клочок возделанной его руками земли. А творческий Божий гений на глазах начал созидать жизнь во всей её силе и красе. Цветы! Проявлением Божией силы, премудрости и любви они появились в зоне в укор кругом царящему бесчинию. Отец Иоанн начал их выращивать, чтобы наблюдать в них возрождение жизни, её полноту, когда его перевели с лесоповала. Это стало потребностью его души, и он был ими озабочен особенно. В каждом письме напоминание сначала о семенах, потом, по мере их роста, о своих наблюдениях. «Посаженные цветочки, хотя медленно, но растут — напрягая все свои силы. Надеюсь, что и у нас они будут цвести во славу Божию и нам на утешение. Заниматься их разведением доставляет огромное удовольствие. Ожидаем солнышка с надеждой, что лучи его

обогреют и людей, и цветы, которые нам о многом напоминают, а главным образом — о высочайшей премудрости их Творца и нашего общего Создателя», — пишет он в весенних письмах. Так из мрака лагерного «затвора», из маленькой комнатки при дезкамере текли в мир токи духовных утешений тем, кто был на свободе. Но только десять месяцев суждено было ему жить в этих условиях. В сентябре 1953 года для заключённого Крестьянкина начался новый этап. Он даже не успел забрать свои книги и кое-какие вещи, находившиеся за зоной, как без его просьбы и желания был внезапно переведён на новое место отбывания наказания. Прощай, лагерная келья-землянка, прощай, все те, с кем подняты тяготы трёх лет неволи, впереди неизвестность. С 13 сентября 1953 года лагерные документы Каргопольлага извещают, что заключённый Крестьянкин отбыл в Молотовский район Куйбышевской области в село Гаврилова Поляна, где располагалось инвалидное отделение лагерного подразделения ОЛП-1.

На станции Мостовицы, вблизи Ерцево, сформировали огромный состав на Куйбышев — около пятнадцати товарных вагонов, заполненных до отказа.

И снова безгласный отчуждённый конвой вдоль цепи отверженных, монотонный перестук колёс в духоте табачного дыма. В вагоне более полусотни человек, ночью все спят вповалку, посреди вагона печка-буржуйка. Золотая осень. Вот и Волга. Впереди — мост железнодорожный: одним концом упирается в берег, другим — в горизонт. Тринадцать пролётов. Раньше назывался мост Александровским. Теперь — просто мост. Мало кто помнит его прежнее имя. Мало кто помнит, что начали строить Александровский мост в 1876 году, а через четыре года пошли по нему поезда. Тогда был крупнейший мост Европы, символ русского капитализма, неудержимо прущего заре навстречу. Мост и сейчас смотрится. Страшен мостище. Страшная серая Волга. Вокруг — степь. Уже холодно. Ветер на проводах свистит. Разъезд. Рельсы в три колеи. На откосе надпись белыми камушками: «Слава Сталину!» Куйбышев. Вокзал. Прибыли «красные» вагоны (вагоны «красного» эшелона, следующие по маршруту, подписанному важным генералом ГУЛАГа, прибывают только ночью, и это закон). Конвой использует ночные солнца — прожекторы, удобные тем, что их можно собрать на нужном месте, там, где испуганной кучкой сидят арестанты в ожидании команды: «Следующая пятёрка — встать!», «Бегом!», «Сесть на землю!», «Стать на колени!», «Раздеться!» — и в этих уставных конвойных командах за-

ключена коренная власть, с которою не поспоришь. Ведь голый человек теряет уверенность, он не может гордо выпрямиться и разговаривать с одетым как с равным. Начинается обыск. Голые подходят, неся в руках вещи и снятую одежду, а вокруг — множество настороженных вооружённых солдат. Обстановка такая, будто ведут не на этап, а будут сейчас расстреливать или сжигать в газовых камерах, — настроение, когда человек перестаёт уже заботиться о своих вещах. Конвой всё делает нарочито резко, грубо, ни слова простым человеческим голосом, ведь задача — напугать и подавить... Посадка в ожидании «воронка» — она тоже продумана. Если сидишь на земле задом, так, что колени твои возвышаются перед тобой, то центр тяжести — сзади, подняться трудно, а вскочить невозможно. И ещё сажают всех потеснее прижавшись, чтоб друг другу больше мешали. Захоти вдруг заключённые броситься на конвой — пока зашевелятся, прежде перестреляют. Сажать ждать «воронка» или пешего отгона старались в скрытом месте, чтоб меньше видели вольные. Правда иногда, как в Куйбышеве, сажали неловко прямо на перроне или на открытой площадке. Вот уж где испытание для вольных: «зэки» разглядывают их с полным правом, во все честные глаза, а им как глядеть на арестантов. С ненавистью? Совесть не позволяет. С сочувствием? С жалостью? А ну как фамилию запишут? И срок оформят, это просто. И гордые свободные наши граждане опускают свои виновные головы и стараются вовсе их не видеть, как будто место пустое. Смелей других старухи: их уже не испортишь, они и в Бога веруют, и, отломив ломоть хлеба от скудного кирпичика, они бросают в сторону сидящей толпы. Старушечий хлеб от слабой руки не долетит, упадёт наземь, а конвой тут же заклацает затворами — на старуху. На доброту, на хлеб: «Эй, проходи, бабка!» И хлеб святой, преломленный, останется лежать в пыли... Этап заключённых, уже истерзанных годами лагерной тяжкой неволи, шёл через город от вокзала к тюрьме. Лёгкий ветерок навевал ощущение некоторой свободы. И очень хотелось, чтобы это со стороны неприглядное шествие длилось для них долго. Мимо шли люди, они не проявляли к заключённым ни сочувствия, ни порицания. Каждый был занят своими будничными заботами. Но вдруг иллюзия свободы исчезла, в одно мгновение разбилась о жестокую реальность. Вот как сохранилось это в памяти бабушки: «Помню, как вели нас — колонну арестантов в Куйбышеве, навстречу детишки маленькие. Ещё всех букв не выговаривают. А милостивая и юная воспитательница хорошо поставленным го-

лосом повторяла детям бессмысленный для них урок политграмоты, говоря про нас: «Вот, детки, враги народа идут» — а они глазёнки таращат и, подхватив за ней непонятные страшные слова, вразнобой и картавя, выкрикивали: «Вляги, вляги» — при этом ласково и приветливо улыбаясь проходящим мимо взрослым. Какковы теперь эти выросшие дети и их милая воспитательница? Вразумила ли их жизнь, доросли ли они до понимания, кто друг, кто враг, где истина, где ложь?» В то далёкое время «враг» совсем не ощущал себя врагом, но только рабом Божиим, готовым идти по Промыслу Божию туда, куда Он его поведёт. Отец Иоанн твёрдо верил в руководство Промысла Божия над миром. Слово «враг», применяемое к отцу Иоанну на следствии, не произвело на него впечатления. Но это же слово, услышанное им из невинных детских уст, поразило его сердце своей бессмысленной жестокостью.

Куйбышевская пересыльная тюрьма, или просто — «пересылка», располагалась в низине, из которой, однако, были видны Жигулёвские ворота Волги. Она состояла из нескольких длинных деревянных бараков. Внутри — дощатые голые нары в два яруса. По доскам над головами клопы бегали даже при свете дня, но пол в бараке был идеально чист; некрашенный, он ежедневно оттирался голиком с песочком и отмывался до матовой желтизны, как стол у хорошей деревенской хозяйки. Сразу над тюремной территорией, обмыкая её с востока, шёл высокий долгий травяной холм. Он был за зоной и выше зоны, а как к нему подходить извне — не было видно снизу. На нём редко кто и появлялся, иногда козы паслись, бегали дети. И вот как-то летним и пасмурным днём на круче появилась городская женщина. Приставив руку козырьком и чуть поводя, она стала рассматривать зону сверху. На разных дворах в это время гуляло три многолюдных камеры, и среди этих густых трёх сотен обезличенных муравьёв она, видимо, хотела в пропасти увидеть своего! Надеялась ли она, что подскажет сердце? Ей, наверное, не дали свидания — и она взобралась на эту кручу. Её с дворов все заметили, и все на неё смотрели. В котловине не было ветра, а там, наверху, был изрядный. Он откидывал, трепал её длинное платье, жакет и волосы, выявляя всю ту любовь и тревогу, которые были в ней. Может быть, когда-нибудь статуя такой женщины именно там, на холме над пересылкой, и лицом к Жигулёвским воротам, как она и стояла, могла бы стать примером преданности и любви и хоть немного что-то объяснить последующим поколениям...

На высоком правом берегу Волги, немного выше Куйбышева, в 1939 находилось место приюта для заключённых инвалидов. В

лагерь на Гавриловой Поляне отправляли не всех заключённых, а лишь тех, у кого были какие-то серьёзные лёгочные болезни, вроде туберкулёза, или инвалидов. Больных в ослабленном состоянии даже переводили сюда из других лагерей. Здесь было около семи тысяч заключённых. Поляна-котлован была ограждена холмами и лишь с одной стороны открыта на Волгу. Красивое место, в центре которого было выстроено добротное многоэтажное здание с множеством подземных сооружений, предназначалось, вероятно, для каких-то других целей. Но, видимо, планы изменились, и рядом с этим великолепием наскоро соорудили с десяток деревянных бараков, в которых поселили тех, от кого надо было охранять советскую действительность.

«Место, куда мы прибыли вчера, по природным и климатическим условиям значительно лучше. Слава Богу за всё! Порядок посылки писем остаётся прежний. На волжском побережье установилась чудная погода: тёплая и солнечная. Русская золотая осень радуется и ободряет всех. У меня всё благополучно. Радуюсь, благодушествую и за всё благодарю Господа», — сообщает отец Иоанн 21 октября 1953 года.

Заключённые сами вымостили белым камнем дорогу к лагерю, вдоль которой вскоре появились и первые захоронения. Напротив Гавриловой Поляны, на той стороне Волги, расположены красивые Сокольи горы, с главной вершиной Тип-Тяв... Сокольи горы являются продолжением Жигулёвских гор на левом берегу. Они вместе образуют так называемые Жигулёвские ворота — самое узкое место в долине Волги (около 700 метров). Ведь когда-то Сокольи горы были единым массивом с Жигулями и Волга протекала восточнее. Здесь местами видны дикие утёсистые обрывы, в которых зияют входы в промытые водой пещеры. Подножия гор завалены упавшими сверху массивными глыбами камня. А Царёв курган — не что иное, как геологический останец Жигулей.

Сложно представить себе заботу партии и правительства о здоровье политических заключённых, но факт этот всё же имел место. В лагере, по воспоминаниям старожилов села, было разбито несколько клумб с цветами, а также действовал самодеятельный театр. Назвать это место обычным сталинским лагерем, наверное, нельзя. Да хотя бы потому, что жил он не только своей «зековской» рабочей жизнью, была в лагере и другая жизнь — творческая, как ни парадоксально это звучит. В клубе лагеря ставили настоящие спектакли. Ведь в самом лагере отсиживали свои сроки многие актёры, художники и вообще творческие люди. Отбывали

здесь срок и особы духовного звания. В первых же письмах отца Иоанна с Гавриловой Поляны чувствуется его беспокойство и забота о близких. Он просит сообщить новый адрес сёстрам, Танечке и монахине Евгении, а также всем своим постоянным корреспондентам. И ещё одно обстоятельство волновало его — оставленные на Чёрной Речке книги. Да и новое место воспринималось как начало пути в заключение. Опять, опять предстояло привыкать к людям, начальству, режиму. И если погода и природные условия радовали прибывших с севера, то лагерный режим оказался такой же жёсткий и немилостивый, как на ОЛП «Чёрный». «Вот уже прошла целая неделя, как я нахожусь в совершенно иной жизненной обстановке, во многом резко отличающейся от предыдущей, которую часто вспоминаю. Здоров. Всё обстоит благополучно. Обмениваться письмами будем по-прежнему два раза в месяц: одно письмо Танечке, а другое — всем вам. Убедительно прошу посылок мне не присылать. Так надо, и так будет...» Что за трудности диктуют такой тон писем, осталось тайной. Из кельи на двоих, пусть и лагерной, снова попасть в барак с его шумом и многолюдством, и часто беспределом, но опять звучат его слова: «Слава Богу за всё, всё!» «На Волгу люблюсь ежедневно, конечно, издали. Впечатление от всего окружающего могло бы быть гораздо больше, если не препятствовало бы этому моё крайне слабое зрение. Но ничего. Надо всегда всем быть довольным и за всё благодарить Бога, милующего и утешающего нас». «Скорби, скорби! Когда же они кончатся или ослабнут? Но надо ли им кончатся? Не в них ли сокрыта тайна моего спасения? Опять пред взором спасительный Крест, и слышен голос: «Аще кто хочет по Мне ити, да отвержется себе и возмёт крест свой, и по Мне грядет». Да, всё при мне. Спаситель со мной! А скорби и страдания земной жизни, они до конца, они и свидетельствуют о правильном пути, о пути, начертанном Христом. Господи, благослови! Иду дальше!» Постепенно обживаясь в инвалидном лагере, отец Иоанн приступил и тут к негласному духовничеству, и вскоре в письмах на волю зазвучали обычные просьбы: «Прошу прислать мне фотографии мамочки, лекарства... привезти с собой крестики и несколько маленьких иконок, а также совершить заочное отпевание умерших заключённых». Ко дню Ангела своим помощницам отец Иоанн посылает подарок, один на двоих. И такой же просит их переслать сестричке, «пусть она немного утешится, так как, кроме нас, почти никого не осталось, кто бы готов был с любовью порадовать её». Подходил к концу 1953 год. Именно в это время зазвучала в пись-

мах отца Иоанна особенная забота и тревога о сестре и её тревога о нём. Они росли вместе, и их детская дружба не претерпела от времени изъяна, а переросла в трогательную заботу друг о друге и обоюдную любовь. Письма от сестры ежемесячно приносили ему весточки из Орла о родных и близких. Январские письма 1954 года несколько настораживали. «Дорогой наш братец! Шлём свой искренний привет с пожеланием всего наилучшего. Как здоровье, как зрение, а то мы беспокоимся? За полученное от 12 января письмо большое спасибо, за память и утешения. Этот день я чувствовала себя ничего, а вообще последнее время здоровье неважное. Вспоминаю про тебя, дорогой братец, часто, а в этот день особенно. Ухаживает за нами Маня (монахиня Евгения (Овчинникова)), пошли Бог здоровья ей, пожила бы для нас. А то она тоже стала слабая и плохое зрение. В нашем доме все стали слабые, больные, но говорят, умирать не хочется, будем ждать, пока возвратится наш Батюшка. А так, конечно, путь неизбежный. Но что делать, будем надеяться на Господа. Погода стоит холодная, сильные морозы, но о нас не беспокойся, топливо есть, в квартире тепло. Нового пока ничего нет. Все родственники и знакомые шлют привет и желают всего наилучшего. Ещё раз шлём привет, крепко целуем, обнимаем своею любовью. Твои сёстры. За посланную от нас маленькую посылочку не обижайся, хочется послать».

Кроме отца Иоанна, сюда в феврале следующего года был переведён из того же Каргопольского исправительно-трудового лагеря церковный писатель Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов. На место умерших поступила новая партия — доживать здесь свой век. От Волги до лагеря руками заключённых была проложена дорога, вдоль которой тянулись лагерные захоронения. Для заключённых с севера было в этом лагере немаловажное преимущество — мягкий климат. В отношении питания приходилось приспособливаться каждому самому. Писатель вспоминает в своей книге «Рук твоих жар» о лагере Гаврилова Поляна: «Через некоторое время перегнали нас всех на новый лагерный пункт, на Гаврилову Поляну. Это у Красной Глинки. Надо перебраться через Волгу, забраться на довольно высокую горку. Переехали мы туда в феврале. Река замёрзла. Перевозили нас через Волгу на грузовиках. Приехали. Своеобразное это место — Гаврилова Поляна. Место исключительно живописное, на возвышенности, вид на Волгу. Когда-то это было любимое место для пикников самарского губернского общества. Теперь здесь инвалидный лагерь... Огорожен забором с вышками. Деревянные бараки. Сюда

посылают инвалидов абсолютно неработоспособных. Я попал сюда по своей старой каргопольской инвалидности, которую получил за уроки словесности «наследнику-цесаревичу» из санчасти. Две больницы, туберкулёзники, блатные, один так называемый полустационар, где обитали эпилептики, кретины, старики под восемьдесят лет. В бараках инвалидов — тоже старики, по 58-й статье, выражаясь по-лагерному — «доходяги». Лагерь заброшенный. Почти не кормят. Никаких удобств. Вскоре как лагерный медицинский работник я пристроился в туберкулёзный стационар. Потом оттуда вышибли. После этого стал заведовать «полустационаром». Здесь много было религиозных людей — погрузился опять в духовную среду. Много колоритных типов. Прежде всего, духовенство. Наибольшей популярностью пользовался среди заключённых отец Иоанн Крестьянкин. Человек по натуре весёлый, добродушный, несказанно мягкий, всё мирское ему чуждо. Он священник и инок с головы до пят. Этого достаточно и для прихожан, и для властей. Для прихожан — чтоб в короткое время стать одним из самых популярных священников в Москве; ну а для властей этого тоже вполне достаточно, чтобы арестовать человека и законопатить его на много лет в лагерь. Если представить себе человека, абсолютно чуждого какой бы то ни было политики и даже не представляющего себе, что это такое, то это будет отец Иоанн Крестьянкин. В 1950 году он, действительно, был арестован. Обвинения, которые ему предъявлялись, были смехотворны даже для того времени. Так, по народной молве, ему ставилось в вину, что он на отпуске поминал Александра Невского святым



благоверным князем. (Видимо, по мнению следователя, надо было назвать его — «товарищем».) Это было квалифицировано как «монархическая пропаганда». В лагере он возил на себе, впрягшись в санки, воду. Много

молился. Всё лагерное население к нему сразу потянулось, для многих из них он стал тайным духовником. Начальство без конца его допекало и грозило тюрьмой. Приставили к нему специального наблюдателя — толстого здорового «придурка» из проворовавшихся хозяйственников. Запомнилась мне на всю жизнь почти символическая картина. Сидит на скамейке проворовавшийся хозяйственник, читает газету: он к тому же ещё культорг в бараке. А за его спиной по площадке, окаймлённой кустарником, бегают взад и вперёд отец Иоанн. Только я понимаю, в чём дело. Это отец Иоанн совершает молитву. Он близорукий. Глаза большие, проникновенные, глубокие. Несколько раз, приходя в барак, заставал его спящим. Во сне лицо дивно спокойное, безмятежное. Как ребёнок. Не верится, что это взрослый мужчина. Несколько раз, якобы гуляя с ним по лагерю, у него исповедовался. Чистый, хороший человек».

Сам отец Иоанн мало говорил о жестокой повседневности лагерной жизни и ещё меньше — о своём внутреннем состоянии. Осмысливая Божие определение о себе, он вспоминал, как на свободе мучился вопросом, возможно ли идти монашеским путём без путеводителя, не ограждённым от соблазнов мирской жизни, без вдохновляющего примера единомышленных путников-богоискателей? «И теперь Господь ответил на этот вопрос: «Да, да, возможно! Иди за Мной, иди по водам житейского моря дерзновением веры, держась крепко за ризу Мою». Господь потребовал, чтобы я отринул в себе всякое представление о монашеском пути по примеру уже прошедших им. И принял путь, начертанный Его Божественным перстом».

«Весёлый человек» — таким многие воспринимали отца Иоанна, это его свойство поражало и обитателей лагеря на Гавриловой Поляне, и ОЛП «Чёрный»: как в таком месте и в таких тяжких обстоятельствах весёлость не умерла, не заглохла, но сквозь безнадежный мрак надеждой высвечивалась для окружающих. «Весёлость! Не насмешка, а такое солнце внутри — всему улыбается, всему добро, всему свет. Весёлых людей очень мало, потому что мало чистых. Весёлость есть состояние «без греха». А прожить жизнь и не поддаться... Свет и весёлость ребёнка ещё почти природа, свет мудреца и святого — подвиг и труд... без самоограничения нет силы, нет здоровья духа, а значит, нет весёлости. Аскетизм ведёт к весёлости», — пишет свои наблюдения о божиих людях один из русских писателей. Отец Иоанн пронёс это свойство души сквозь все невзгоды жизни и часто задавал мо-



лодѣжи вопрос: «Почему вы не радуетесь, унываете и тяготитесь жизнью? Если бы мне Господь даровал к моим годам ещё столько же, я бы и тогда не устал жить и радоваться, и Бога благодарить».

И он не терял времени, жил наполненно и деятельно всегда и везде. Об источнике радости жизни он говорил так: «Я в трёх тюрьмах сидел. Глядя на меня, разве скажешь это? А всё прошло. Вспоминаешь как сон. До ареста служил на приходе в Москве. Всегда в подряснике ходил, только на лесоповале не смог, а так везде в нём. Шустрый был, ну и натерпелись блюстители порядка из-за меня, я везде в подряснике — в трамвае ли, по городу ли пешком. А время-то уже другое было, надо бы мне понять. Не понял! Они меня по этапу и направили. Уж чего я только не видел там! Чего только не претерпел! Всё, всякие грехи к сердцу прилагались, но совесть чиста. Как зато теперь хорошо! Если бы вы знали, как хорошо про всё это вспоминать и знать, что я совесть сохранил. От этого и на сердце легко и радостно!» Чистота души и совести — вот источник всякого блага для человека, зеницы его ока, воспринимающие радость Божьего мира.

## 5

Село Гаврилова Поляна, которое возникло ещё в конце XIX века, названо так ошибочно: Гаврилова Поляна располагалась гораздо выше по течению, ближе к Крестовой Поляне. Современное же местоположение села называлось Пасекой. Именно здесь в конце 30-х годов прошлого столетия по решению Правительства СССР началось строительство Куйбышевского гидроузла. На левом берегу в Соколых горах от подножья Серной горы до подножья горы Тип-Тяв был построен посёлок для руководителей стройки с названием — Управленческий, а на правом — посёлок Гаврилова Поляна. За два предвоенных года уже поднялись вспомогательные предприятия, протянулись транспортные пути и приступили к строительству котлована для гидроэлектростанции. Гаврилова Поляна из места, где на богатых пастбищах пасли скот жители из близлежащих деревень, превратилась в строительную площадку. По льду стали укладывать и связывать огромное количество травяных снопов, чтобы уменьшить напор воды и облегчить строение плотины. Плоты, конечно, смыло мощным паводком, а тут ещё учёные сделали грустный расчёт: если плотина упрётся в твёрдые известняковые горы, что по правому и левому берегу так заманчиво близки друг к другу, то плотина долго не простоит. Спустя год горные породы растворятся и плотину

унесут потоки воды. Уже начали возводить корпуса дома отдыха гидростроителей, а тут такая неудача. Но на противоположном берегу Волги, в посёлке Красная Глинка, уж очень были переполнены тюремные помещения. И уже неизвестно кому пришла такая «спасительная мысль» недостроенные корпуса дома отдыха превратить в корпуса очередного лагеря для заключённых, существовавшего с 1939 по 1954-1955 годы. Таким образом, местное население пополнилось за счёт политических заключённых, большинство из которых — инвалиды, а также военизированного отряда охраны и сотрудников управления лагерем. Причём заключённым пришлось самим достраивать корпуса. И так, с 1939 по 1954 годы село Гаврилова Поляна являлось ничем иным как ОЛП № 1 (аббревиатура ОЛП № 1 расшифровывалась просто — Отдельный лагерный пункт № 1). А предыстория самого этого лагеря символична. В своё время в Куйбышеве строился тайный объект — «сталинский бункер», готовилось место для вождя на случай опасности. Всё в этом бункере было учтено и приспособлено, чтобы он мог в течение долгого времени управлять страной при экстремальных обстоятельствах. А за городом, дублируя городское сооружение, в живописном месте на природной террасе, с запада прикрытой холмами, а на восток открывавшейся к Волге, была построена для него ещё и правительственная дача. Здесь на природе выросло мощное каменное здание, которое могло полностью удовлетворить нужды пожилого правителя. Но дача, как и бункер, так и не были востребованы. Как уже писалось выше, чья-то незаурядная фантазия превратила это правительственное великолепие в инвалидный лагерь для заключённых, оставив ему старое лирическое название местности Гаврилова Поляна. Здание дачи стало административным корпусом, а вокруг него наскоро построили десяток деревянных барачков, баню и ещё кое-какие хозяйственные сараи. Всё это обнесли оградой с вышками для охраны. По иронии судьбы правительственное сооружение превратилось в захудалый лагерь для провинившихся перед правительством людей. Собрать по всей стране несколько тысяч болящих «зэков» труда не составляло. «Доходяги», как неофициально звали насельников, были заняты кое-какой посильной работой, и поскольку проку от них не было, кормили их плохо. По свидетельству заключённого, «..лагерь заброшенный, почти не кормят». На холме возвышалось огромное, как корабль, здание. До 1954 года здесь находился штаб лагерного пункта. Здесь размещались администрация лагеря, магазин и квартиры персонала. Для заключён-

ных (по некоторым данным — около семи тысяч человек) было сооружено более десяти бараков, развалины которых сохранились по сей день. Особенно много сидело по статье 58-10. Охранники постоянно издевались над ними и называли «политическими болтунами», мол, не были бы дураками, не возмущались — сидели бы себе дома на печке. Хотя на самом деле избежать тогда подозрений для наказания было очень трудно. Уголовников было мало. Все сидели вперемежку. Обстановка была удушающая. Заключённым, которых в бараке находилось около 200 человек, отводилась даже не «гулаговская» норма в 2 квадратных метра на человека, а 1 кв.м, а иногда и 0,7. Многие заключённые спали на голых досках, матрасы с соломой считались роскошью, бараки были наполнены клопами и вшами. Иные бараки так были заражены насекомыми, что не помогали четырёхдневные серные окуривания, и если летом «зэки» ходили спать на землю — клопы ползли за ними и достигали их там. А вшей с белья «зэки» вываривали в своих обеденных котелках. Некоторые бараки были сколочены из сборных щитовых деталей. Каждый барак — по 50 и более метров длиной, в два яруса нары, две печки из бочек. Когда их топили, в бараке собирался удушливый смрад и вонь человеческих тел, с потолка капала вода, а стены покрывались инеем. Люди возвращались с работы мокрыми, не успевая обсушиться, и мокрыми же шли на работу на следующий день. Привозили «зэков» по Волге, а если «этап» шёл зимой, приходилось переходить реку по льду пешком. Лагерь заметно отличался от прочих сталинских лагерей. В лагерь на Гавриловой Поляне, исполнявший роль своеобразного «санатория», отправляли не всех заключённых, а лишь тех, у кого были какие-то серьёзные лёгочные болезни, вроде туберкулёза, или инвалидов, с больными, отёкшими, покрытыми язвами ногами. Много было инвалидов без руки или ноги. Больных в ослабленном состоянии даже переводили сюда из других лагерей. По воспоминаниям старожилов села Родимовой Антонины Васильевны и Хлустикова Виктора Ивановича в лагере было с десятков бараков. Отдельные бараки были для уголовников и «ссученных». Со стороны леса стоял двухэтажный цех кожевыделки по изготовлению хромовой кожи, рядом располагался валяльный цех для производства валенок и швейный, где шили рукавицы для строителей ГЭС. Были также цеха: прядильный, где изготавливали верёвку из переплетённой бумаги, сетевязальный, где плели сети и корзины. Была и мастерская для поделок из дерева и камней — приборы для письма. Лесопилка. Но, кроме лёгкой

работы по пошиву рукавиц и валянию валенок, для заключённых, ослабленных болезнями, были и просто земляные работы. Некоторым повезло работать на лесоповале, где они получали ещё дополнительный паёк хлеба. Политические — мостили дорогу в посёлке или занимались изнурительной и издевательской работой по перетаскиванию брёвен с берега на баржу и с баржи на берег — и так без конца. Ну, и излюбленные штрафные работы: известковый карьер, обжиг извести, работа на каменных карьерах Серной горы. Хотя эти работы были тяжёлыми, каждый хотел, чтобы его послали работать за территорию лагеря, за колючую проволоку, и пытались заслужить это право: если уж умереть, то за забором тюрьмы, на относительной свободе. Поэтому, в силу тяжести труда заключённых, в лагере было много смертей. Умирали от болезней, ведь основным контингентом были тяжелобольные. Говорить о лечении или хотя бы нормальном питании не приходилось. Хотя и выращивали арбузы и овощи, но всё это было для семей сотрудников МВД, и всё отправляли в Куйбышев. Был большой склад. На территории лагеря был порядок, мощёные из камня дорожки, кое-где по земле проложены настилы из досок, а из камней — выложенные клумбы и газоны вокруг бараков, посажены цветы. Многие заключённые перемещались по лагерю свободно. Иногда для населения Гавриловой Поляны, которое пропускали со старшим от лагеря, давали концерты лагерной самодеятельности. По периметру всего лагеря было два ряда колючей проволоки, а между ними шириной в десять метров вскопанная полоса — «запретка», на которой будут видны следы беглеца.

Заключённый Илья Игнатович Долгов писал своим близким: «Кормили заключённых так себе. Каша из «магарной» крупы. «Магар» растёт где-то на Дальнем Востоке, из стеблей его плетут метёлки. Эта каша не питательная, только желудок набиваешь... В супах и каше не видно было ни одной звёздочки масла. Баланда была всегда жидкая, если попадут стебельки крапивы, свеклы, то это было счастье. Бушлаты, телогрейки и стёганные брюки выдавали нам худые, а на складах их было много. В войну бараки не топили, а дрова увозили в Куйбышев для начальства. Сколько заключённые выращивали арбузов, помидоров и огурцов — всё увозили в Куйбышев. Как только не обманывали «зэка». Вследствие этого умирали от голода, холода и болезней. Умрёт один или тысяча заключённых, от этого никто из начальства не пострадает». Зимой трупы складывали у специально отведённого барака, потом их грузили на сани, которые волокли всё те же заключённые.

За одну такую «ходку» вывозили от двух до трёх сотен человек. Очень суров был лагерный режим, и не только физически, но и морально. В этих стенах закончили свою жизнь несколько тысяч человек. Каждый день телега с трупами отправлялась к подножью Белой горы и их сбрасывали, как мусор, в общую безымянную могилу. Обозначать место захоронения было запрещено, даже через 10 лет после закрытия этой страшной тюрьмы от родственников погибших скрывали, где покоятся тела их близких. А вот как рассказывает о своей судьбе ещё один из заключённых лагеря:

«Родился я в 1920 году в Польше, в семье инженера. Окончив реальную гимназию, уехал учиться в Англию по направлению завода «Поляна». Два года спустя вернулся домой: первого сентября тридцать девятого началась Вторая мировая война. Мы эвакуировались на «восток». Пришла Красная Армия. Я стал работать шофёром. В 1941 году немцы напали на СССР, и я уехал в Челно-Вершины, где работал мой зять главным врачом. Я работал шофёром в больнице, в райисполкоме, потом замом председателя сельпо. В армию просился усиленно, но на фронт не брали, так как у меня был чин подпоручика Польской армии, который мне присвоили во время моей учёбы.

17 ноября сорок четвёртого вечером меня арестовали, провели обыск и увезли в Куйбышев во внутреннюю тюрьму. Следователь обращался очень вежливо, культурно, ибо я был, как он мне объяснил, политзаключённым иностранного государства. А вскоре начались муки. Допрашивали по ночам, брали измором. Обвиняли в шпионаже. Постепенно пытки ужесточались. Обвинение в том, что с зятем, которого тоже арестовали, вспоминали о жизни в Польше в ущерб Союзу. Какая же неумная выдумка!.. В тюрьме просидел больше года, потом попал в пересылку около ГРЭС (на улице Вилоновской), откуда нас, погрузив на баржу, привезли на Гаврилову Поляну. Там я встретился с Шадчиным, мастером «Чапаевского» завода, знакомым по внутренней тюрьме Куйбышева. Он поселил меня рядом с собой. Спасибо ему! Ведь в бараке находилось около 200 человек — обстановка удушающая. В лагере были прядильный, валяльный цеха, цех кожевыделки, сетевязальный, швейный. Меня определили учеником в прядильный. И надо же, заболели ноги, отекали, появились язвы. Я очутился в валяльном цехе, назначили заместителем начальника. Жить я стал в одном из домиков для «зэков». Суда надо мною не было. Приговор был вынесен заочно четвёртого июня сорок четвёртого года, и объявили мне его в тюрьме. Через три года и четыре с половиной

месяца, а точнее 17 ноября сорок девятого, меня освободили. После освобождения я вернулся в Челно-Вершины на ремонтно-механический завод. Числился мастером, а приходилось решать все производственные вопросы, ездить в Москву. Короче, наступили новые времена, с ними новые веяния. И хоть за это надо благодарить судьбу».

А 62-летний житель Гавриловой Поляны Виктор Алексеевич Ефимов, уже в далёких восьмидесятих вспоминал следующее: «...Моего отца взяли в армию в охранные войска МВД, и он работал в лагере для заключённых. Так с отцом я попал на Гаврилову Поляну. После войны, с 1946 по 1949 годы, в этом лагере работал и я сам. За это время из лагеря выпускали только уголовников, изменников Родины не выпускали. Из политических здесь были и узбеки, и таджики, и афганцы, и молдаване. Смертность у заключённых была жуткая. Мой отец хоронил их у Каменного озера и вдоль дороги до села Подгоры. Штабелями на телеги складывали трупы. Не знаю точно, но тысячи две за три года умерло. В основном умирали от голода. Давали на каждого заключённого в день 500 граммов хлеба и баланду. Хлеб плохой, как глина. Нам, охранникам, и то хлеба не хватало — понятно, мы кормились за их счёт, так что некоторые заключённые получали по 200 граммов в день, а то и меньше. Нормы выработки были непосильными,

Ф. 896

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания тройки при Управлении НКВД СССР по МО от „9“ „X“ 1937 г.

СЛУШАЛИ:	ПОСТАНОВИЛИ:
<p>96, дело № 7329 по обв. ОРЛОВА Александра Васильевича, 1883 г.р.ур.МО, Малинского р-на, с.Хонятино, священник, в 32г. осужд. тр. ПИ ОГПУ МО по ст.58/10 и П УН к 3г. ИТЛ-отбыл. Обвин. в том, что вел к агитации против сов. в. и ВКП/б/, агитировал водить детей в церковь.</p>	<p>ОРЛОВА Александра Васильевича, РАССТРЕЛЯТЬ.</p>

Секретарь тройки

большинство заключённых норму не вытягивали. Была в лагере и санчасть, но медики за заключёнными не смотрели, если только у последних не был туберкулёз. Одновременно заключённых в лагере было на то время 1500, среди них человек 20 каменотёсов, добывали камень на карьерах горы Лысухи. Нас, охранников, был один дивизион МВД, это 150 человек. Новых заключённых подвозили зимами на лошадях с Красной Глинки». Письма разрешалось писать всем, кроме тех, кто на строгом режиме.

Одно из писем узника Гавриловой Поляны, Константина Михайловича Демиховского, преподавателя биологии средней школы села Новодевичье, арестованного в 1942 году и осуждённого по статье 58-10 на 10 лет, хранится в Краеведческом музее города Самары: «...17 апреля. Милые, дорогие Женя, Костя, Нина и братья! Пишу вам всем одно письмо из своего заключения, с Гавриловой Поляны, где живу с 13 марта. Отсюда я писал несколько писем Мише домой, но ответа ни от кого не получил, что меня крайне беспокоит и отнимает остаток здоровья. Неужели я до смерти не узнаю о вас, как вы живёте, и неужели вы забыли обо мне, несчастном. Я пока жив, но очень слаб и сильно нуждаюсь в поддержке. Без поддержки я долго не проживу. Напишите о помиловании от Кости и Нины. Продайте всё что можно, выручите меня. Сюда легко приехать из Ширяево или Куйбышева на водном трамвае. Передачи приносить можно. Пока ещё работаю, но силы слабые. Нуждаюсь в кусочке какого-нибудь мыла, бумаги, конверте с маркой, особенно в открытках, портянках, карандаше, толстой игле, нитках. Ни одежды, ни обуви пока не привозите. Пишите, не забывайте. Адрес мой передайте братьям, Косте, Шуре. Куйбышевская область, Молотовский район, Гаврилова Поляна. Почтовый ящик № 70...»

После Сталинградской битвы на смену заключённым в лагерь пригнали немецких военнопленных. Они проживали до 1953 года в помещении ГУЛАГа. Отношение к ним у местных жителей было достаточно агрессивным, все помнили военное лихолетье и погибших на фронтах родных. А в 1953 году началось этапирование в этот инвалидный лагерь заключённых, изработавшихся в Каргопольлаге на тяжёлых трудах, лесоповале и лесосплаве. Ставшие там бесполезными, гуманной системой они были определены на Гаврилову Поляну. Завозили заключённых партиями.

Были случаи, когда заключённых убивали конвоиры. Кого по ошибке, кого при попытке побега. Какими были эти побегии? Ответ можно также найти в письмах Ильи Игнатовича Долго-

ва: «Один раз при возвращении с работы в лагерную зону одного заключённого пристрелили. Стрелок — Ольга (чувашка), она девушка была очень красивая, но оказалась убийцей. В лес выводили заключённых с маленькими сроками, пристреленному заключённому оставались до освобождения считанные дни, и он, идя в строю, нагнулся к кусту малины со спелыми ягодами, но не вперёд потянулся — куда идти положено, а в сторону. Вот и побег. Она получила за это 25 рублей премию, но всё же часто плакала за свою храбрость. На Гавриловой Поляне пристрелил стрелок заключённого Ваньку Чекмасова совершенно без вины... Нас, еле двигающихся на ногах, положили в одиннадцатый стационар. Это было к весне. Снег начал таять, солнце в полдень сильно пригревало, а он выходил на запасное крыльцо и часто читал книги и журналы. Ветер подул, и одна страница унеслась к сетке внутреннего заграждения, а он давай бежать за ней. Ему до внутреннего заграждения оставалось не меньше трёх-четырёх метров, а стрелок-кавказец «снял» его с вышки одним выстрелом из автомата, так он и разукрасил алой кровью тающий белый снег... Ванька, мой друг из Рязанского пединститута, на веки веков скончался перед моими глазами. Стрелок-солдат из внутренних войск получил 25 рублей — премию за героизм, проявленное при несении службы. А в актах о смерти писали: «Умер скоропостижно» — или придумывали другую причину смерти».

## 6

В феврале 1954 года тайно от брата Татьяна Михайловна Крестьянкина подала кассацию о пересмотре дела Крестьянкина Ивана Михайловича. Что это было? Вещее знание о близкой смерти или предчувствие любящего сердца руководствовало ею? Ответ отказ ей пришёл скоро. Тогда чада стали настоятельно просить, чтобы батюшка от себя послал прошение о помиловании, на что он в письме от 26 февраля ответил им тоже отказом: «Хлопоты, предпринятые моей сестрой, я считаю излишними, а какое-либо добавление к ним со своей стороны — совсем ненужной затеей. Полагаю, что я не ошибаюсь. Вооружимся лучше ещё большим терпением, приносящим огромную пользу для каждого из нас, и несомненным упованием на нашего общего Ходатая и Утешителя. Да простит Он всех нас, а мы друг друга от всего своего сердца, и да увенчает полным успехом все наши надежды, возлагаемые нами на Него с истинной верою... Она научает нас приносить Богу жертву любви, всю жизнь — и в радости, и в горе, предавая Богу.

Она научает нас принять и хранить Божии откровения. Божии обетования, страхом Божиим она оградит нас от потопа зла и нечестия, захлёстывающего мир. Вера станет нам спасительным ковчегом, где кормчим будет Сам Господь, который приведёт нас к вратам праведности. И исчезнет страх, с которым взираем мы в завтрашний день, ибо что такое он, этот завтрашний день, если верующему в Бога и живущему в Боге обещана вечность...

Заранее и преждевременно не составляйте никаких планов или предположений на будущее время. Да будет на всё воля Господня! Ибо Им сказано: «...Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею». «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающего, но от Бога милующего». Время и сроки от нас сокрыты. Поэтому усердно прошу всех вас словами святого апостола Павла «подвизаться со мною в молитвах за меня (и моих собратьев к Богу)», «дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». «Буди, Господи, буди». А 14 марта совершенно неожиданно отец Иоанн получил извещение о смерти сестры. Тяжёлую утрату он воспринял как волю Божию, скорбя и молясь о ней. «...Весть о кончине милой Танечки меня ещё раз убедила в том, что Господь знает нужду каждого из нас прежде нашего прошения. Ибо, посетив меня, находившегося в необычных условиях жизни, очередной скорбью, одновременно тотчас же и утешил меня тем, что все мои сердечные желания Он вложил в сердца тех, кто с любовью, абсолютно добровольно, исполнили всё то, что должен был сделать я, провожая свою любимую сестричку в последний путь». Весна 1954 года насытила отца Иоанна слезами сверх меры. Тихо, мирно ушла из жизни самая близкая ему родная душа. И почти сразу Каргопольлаг прислал ему зловещее напоминание о господствующем там хаосе жестокой злобы. После отъезда на Гаврилову Поляну вдруг прекратилась его связь с близкими людьми, оставшимися на ОЛП «Чёрный». Прошло пять месяцев молчания, и вот известие пришло. Отец Иоанн узнал, что в ОЛП «Чёрный» убили жену начальника режима, некоторое время она работала вместе с ним в бухгалтерии и многим в зоне очень помогала. «Подробности о смерти Полины нельзя читать без боли в сердце и слёз». Зверское убийство, наглая безвременная смерть доброй многодетной матери, безотказной помощницы болящим и скорбящим узникам. А сколько таких наглых смертей пришлось видеть отцу Иоанну за весь период заключения? Сколько болей вместило его любвеобильное сердце, сколько потрясающих душу скорбей? То, что он видел, перечув-

ствовал, пережил, живому и равнодушному уже не забыть и не успокоиться. Теперь вот дети остались без матери. Зачем? Но, подчиняя хаос нечеловеческой злобы и человеческих безобразий высшей цели, отец Иоанн тут же пишет: «Её кончина не была мирной и безболезненной. Но Господь, чадолюбивый Отец, зная все извилины её бессмертной души, светлой и доброй, соизволил допустить такую мучительную кончину, которой обелились и украсились её одежды, восполнились пробелы её внутренней духовной жизни, дабы сделать её достойной наследницей Своего Небесного Царствия. Такова воля Господня! Да дарует Он её бессмертной душе небесный покой и да сотворит ей вечную память. Мужа и детей тогда сохранит и помилует!»

Батюшка отозвался на смерть её письмом: «Печальное известие о смерти Полины меня очень поразило. Супругу убиенной и её детям выразите от меня лично глубокое сердечное соболезнование. Сохраним же все мы о ней светлую и добрую память, принадлежащую ей по достоинству, а об упокоении её бессмертной души (доброй и отзывчивой) в Царствии Небесном будем молиться. Вечная память!» У батюшки не было пустых слов, он поминал убиенную рабу Божию Полину до конца дней своих.

Миновал 1954 год. По-прежнему сокровенной остаётся внутренняя молитвенная жизнь заключённого Крестьянкина, он практически ничего и никому не сообщает о себе. Только иногда из писем становится ясно, что он равно оплакивает и погибших, и губителей. Очевидно, в этом даже и был смысл его пребывания в концлагере. Увидел, прочувствовал и сердцем понял находящуюся в демонической стихии родную Россию. Да, все те бедствия и скорби, которые переносит наша Родина ныне, некогда Православная Русь, — это ведь явные признаки, что в нашей жизни явились злые деятели, которые глумятся над верой, богохульствуют, попирают святыню, отвергают духовную власть пастырей, которые сами себе голова, и угождают во всё своим капризам, без всякого уважения относясь к начальствующим. Нарушают таинство брака, законность власти. Не будучи призваны к учительству, они проповедуют своё измышленное лжеучение вопреки учению Церкви. И обещанное Господом зло грядёт на злых деятелей. Но не только гибель показал Господь Своему ученику, в этом же аду он увидел и великую силу, и могущество Божией Любви, когда погрязшие в пучине греха преобразались ею. Чувства и вопль благоразумного разбойника ходатайствовали об их спасении. И там же сам отец Иоанн, благодетельствованный от Господа даром — све-

том Евангельской любви, устремился расточать его без меры, не считая, всем без исключения. «О, если бы мы всегда надеялись на Бога... Тогда бы все наши добрые желания никогда не оставались неисполненными», — слышали от него многие. Ещё в период следствия отец Иоанн понял, что «чем скорее сердце примет Богом данное, тем легче нести благое иго Божие и бремя Его лёгкое. Тяжёлым оно становится от нашего внутреннего противления».

«...Именно в такие трудные моменты мы с вами должны твёрдо знать, что Бог есть любовь, благо и всё Им посылается для нашей пользы, а вот самого способа, которым это делает Господь, исследовать нельзя и нельзя унывать, нельзя роптать, когда не можем понять, что происходит. Именно в таких обстоятельствах являет человек подвиг веры и венчается спасением. Скорбно, тяжело и недоумение на сердце в скорбные минуты, и именно в это время как раз надо бежать нам в сердце своё: не оно ли причина туги — моё восстающее на Промысел Божий сердце, требующее у Бога отчёта — почему это происходит так, а не иначе. Нам бы следовало запечатлеть на сердце своём единственное знание: что бы ни делал Господь, Он делает для нашей пользы, и мы всё должны принимать с благодарностью как от благодетеля и благого Владыки, хотя бы то было и скорбное. Так делали Божии люди во все времена, этим они проходили тяготы жизненного пути». Между тем на воле шла жизнь. Из лагерного окошка также было видно: назревает нечто новое. Первые три года после смерти Сталина — годы качаний, колебаний, зигзагов. Ещё всюду висели его портреты. Но имя его перестало упоминаться совершенно сразу же после его смерти, точно его никогда не было. Изредка начали освобождать по жалобам 58-ю статью — факт беспрецедентный за последние двадцать лет. Ранней весной 1955 года радио принесло новость: был снят Маленков. Остальные соратники Сталина держались в тени: они изредка появлялись, им воздавались официальные почести, но они всё больше и больше отодвигались на задний план. С весны 1955 года маячили два имени: Хрущёв и Булганин. Уже в это время начинают сказываться две черты хрущёвского руководства: известный либерализм, за который следует воздать благодарную память ему и его руководству, и пора мыльной вздорности и самодурства, что на официальном языке вежливо называется «волюнтаризмом». Либерализм — новый дух в журналах. «Оттепель», как называлась нашумевшая повесть Эренбурга, вышедшая в это время. Эта повесть и статья Померанцева «Об искренности в литературе» были первыми ласточками, по которым можно было су-

дить о том, что на воле начинается какой-то новый процесс. В то же время деспотические замашки Хрущёва впервые сказались в весенние и летние месяцы 1954 года, когда неожиданно открылась истерическая антирелигиозная кампания. Вдруг, ни с того ни с сего все газеты запестрели антирелигиозными, хулиганскими статьями, изобилующими кощунственными выходками, наглостью которых могла сравниться только с их полной бездарностью и грубым невежеством.

«Сказалось это и в лагерной жизни. И здесь мне впервые пришлось столкнуться с хрущёвской антирелигиозной кампанией, — вспоминал отец Анатолий. — У некоторых из заключённых были разрозненные религиозные книжки. Я тогда работал ещё в стационаре. Как-то раз утром, это было в Великий Пост, в 1954 году, ко мне приходит Вадим, нагруженный книгами. Тут Евангелия, молитвенник, жития святых, ценный комментарий к Новому Завету А. Гладкова, изданный в 1902 году. Оказывается, с утра у всех религиозных людей обыски. Ищут религиозную литературу. Я взял охапку книг, положил их в шкаф с лекарствами, задекорировал их ватой. Через некоторое время приходят два надзирателя с обыском ко мне в стационар. В бараке мою постель и тумбочку уже перерыли. Вошли в перевязочную. Показал им всё, что есть в столе. Открыл ящик с лекарствами, сказал: «Здесь медикаменты, лекарства, это анестезированная вата». Глянули, ушли. Смотреть вату, рыться в ней не решились. Только они уходят, приходит мой непосредственный начальник врач, полная пожилая еврейка, бывшая заключённая, с ней вольная сестра.

Врач после некоторых раздумий, отводя глаза в сторону, говорит: «Теперь мы можем вас освободить от этой должности. Сестра примет у вас аптеку». Сразу мелькает мысль: что делать с книгами? Сдаю аптеку, затем отодвигаю вату в сторону, беру под мышки книги. Врач и сестра отводят глаза в сторону: всё-таки приличные люди. Прощаюсь. Выхожу в коридор. Что делать дальше? Если выйду с книгами из стационара, немедленно увидят лагерные «стукачи», донесут. Через пять минут придут надзиратели, отберут книги. Вдруг озарение! В стационаре лежит маленький горбатый человек, актёр кукольного театра из глубокой провинции Костя Моисеев. С ним я до некоторой степени подружился. Кладу книги к стене, приоткрываю дверь в палату. Вызываю Костю. Рассказываю, в чём дело. Костя — привилегированное лицо. Он актёр в агитбригаде, в самодеятельном театре. Глянул на книги, выход нашёл легко и просто: «Давайте я их отнесу в

КВЧ». — «Как в КВЧ?» — «Так. Я там всё время околачиваюсь. Книги возьму и спрячу под сценой. Уж там-то, во всяком случае, никто их искать не будет». Так и сделали. Чтобы понять всю пикантность этой проделки, надо знать, что КВЧ — культурно-воспитательная часть — это местное министерство пропаганды. Там цензуются письма, там хранится вся агитационная литература, оттуда исходит всё идеологическое руководство. Спрятать там крамольную литературу — это всё равно что спрятать её в самом МГБ. Костя прав: уж там-то, во всяком случае, никому в голову не придёт искать религиозную литературу. Отдаю её Косте, сам иду в барак. Между тем надзиратели сбиваются с ног в поисках этой литературы. Они знают, что литература есть. Снова и снова обыскивают бараки. Поисками руководит начальник КВЧ Кизильштейн, службист. Он говорит довольно откровенно: «Если мне скажут открыть вам здесь церковь — я с удовольствием открою. Но мне велят сейчас отбирать у вас религиозную литературу — и я буду отбирать». И поэтому ищет, велит искать, мобилизовал всех стукачей. И не подозревает, что вся она находится рядом с его кабинетом, под сценой, и что он каждый день, проходя в свой кабинет, по ней ходит. Летом же, когда кампания стихла и антирелигиозный пыл новоявленных «Диоклетианов» угас, Вадим спокойно пошёл в клуб, взял из-под сцены всю религиозную литературу и роздал её владельцам. Впрочем вскоре и наверху забили отбой. Хрущев ещё не был хозяином положения. Видимо, ему дали по носу. Осенью последовало постановление «Об ошибках в научно-атеистической пропаганде», и всё опять стало на свои места. Между тем в середине 1954 года освобождения начали учащаться. Осенью 1954 года ушёл Вадим Шавров. В феврале 1955 года ушёл отец Иоанн Крестьянкин».

7 февраля 1955 года Центральная комиссия по пересмотру дел на лиц, осуждённых за контрреволюционные преступления, постановила оставить дело заключённого Крестьянкина без изменения. Это был суд человеческий. В то же самое время Божие определение об иерее отце Иоанне возвестил Саровский старец святой Серафим. Он явился ему с благостной улыбкой и словами: «Будешь свободен». Так суд человеческий Божиим велением был без прекословия устранён. Не посрамил Господь упования Своего ученика-послушника. Освобождение пришло к отцу Иоанну неожиданно, досрочно, в день Сретения Господня — 15 февраля 1955 года. Срок сократили на два года. В этот день отца Иоанна вызвали в лагерное управление и вручили документы об освобождении.

дении. Начальник лагерного режима при этом задал ему вопрос: «Вот мы вас освобождаем, что вы будете делать?» Отец Иоанн ответил: «Пойду в Патриархию, так как я священник. И подчинюсь тому, что мне там скажут. А сам не знаю, чем буду заниматься. Может быть, и там меня заставят таскать в гору вёдра с водой». Последним лагерным «послушанием» батюшки было ежедневно поднимать по 40 вёдер воды на верх высокой горы. Был ослепительно солнечный день. Солнце, переливаясь, играло на снегу. А он боялся верить своему счастью. Но ему вручили документы и пожелали на будущее всего хорошего. И уже когда отец Иоанн выходил на свободу, начальник лагеря, принявший от батюшки крещение, прощаясь с ним за руку, спросил у него: «Батюшка, вы поняли, за что сидели?» — «Нет, так и не понял». И тот ему говорит: «Надо, батюшка, идти за народом, — сделал паузу, — а не народ вести за собой». Но воля Божия состояла именно в том, чтобы отец Иоанн и при жизни своей, и после кончины вёл за собой народ. И исправить эту «ошибку» батюшке так и не пришлось ни разу за всю жизнь. Картину этого дня надолго сохранила его память: «Яркий морозный день, снег празднично искрился на солнце и поскрипывал под ногами. У ворот «учреждения» стоит белый конь, запряжённый в розвальни, упругий, весь готовность к движению, к свободе». Он и повёз завершившего учёбу в Небесной Академии на труды в мир. Самым дорогим и ценным приобретением этих пяти лет была для отца Иоанна молитва. Она стала его дыханием, сердцебиением, жизнью. Постепенно в ней он стал слышать моментальный ответ на любое своё мысленное обращение к Богу. Отец Иоанн иногда вспоминал, как зарождалась и вызревала в нём молитва за эти годы. Он укрывался под одеялом на третьем ярусе своей вагонки, уходя молиться в заброшенный барак, ища уединения; болтался с молитвенным воплем на деревьях, не чая остаться в живых; замирал в молитве о бесчинствующих, когда рядом лилась кровь. Но однажды, в самый разгар очередного вражьего разгула в бараке, он почувствовал, что молитве ничто не мешало. Она сокрыла его непроницаемым облаком. «Глас хлада тонка» потрясающим впечатлением вошёл в душу и осенил её неземной тишиной и миром. С этого момента самодвижная молитва запульсировала в сердце иерея Иоанна. Благодарность, славословие Господу да его смирение хранили этот Божий дар от вопрошавших и любопытствующих втайне. На вопрос об Иисусовой молитве отвечал, что для монашествующих — она обязательна, для мирян — желательна. В разговорах

же о духовной молитве не участвовал. Однажды только, останавливая напористость разглагольствования на эту тему, сказал: «Чтобы говорить о ней и понимать, о чём говоришь, надо повисеть на Кресте, да ещё и не зная, сойдёшь с него или тебя будут снимать». Этот период заключения, продлившийся с 1953 по 1955 год был намного легче предыдущего. Его определили на работу по гражданской специальности — бухгалтером. И здесь его изредка навещали духовные чада, утешая главным: они умудрялись тайно передавать батюшке Святые Дары, и он причащался. Это преобразило жизнь. А память сердца до конца дней хранила имена многих, собравшихся в его синодик в то нелёгкое время. Много и тех, кто, минуя задравное поминовение, вписался сразу в его заупокойный помянник: поглощённые лютой стихией, окончившие жизнь в лесной глуши под упавшими деревьями, убиенные, зарезанные по людской злобе... Сколько же их, ушедших на его глазах озлобленными, обиженными, не узнавших истинной цены и смысла жизни, не обретших в ней Того, Кто всегда рядом и силён, и властен провести даже и через сень смертную, изведя в покой и истинную радость.

...Жизнь — трудное дело. И она становится невыносимо трудна, когда из неё изгоняется Бог. Ведь когда изгоняется Бог из дома, на его место приходят злейшие духи, сеющие свои смертоносные плевелы. Мрак и тьма давно начали осуществлять свои смертоносные планы, восстав на семью, на материнство, которое кроет в себе будущее мира — воспитание потомства... За много лет пленения Церкви сколько поколений выросло поработёнными мраком безбожия и заражёнными материалистическим духом стяжательства и накопления. Люди выросли без Бога. И теперь мы с вами должны входить в реальную обстановку жизни нашей, терпеливостью своей в трудах и молитве пытаться исправить то, что было нарушено.

Для отца Иоанна и в заключении, на этапах испытания его верности Христу, не было врагов, не было людей, повинных в этих пяти годах жизни в неволе. Всё совершалось по Промыслу Божию, всё была милость и истина путей Господних. А Бог прав всегда. Люди же... Люди только орудия в руках Его Промысла. Всем своим существом и навсегда батюшка подчинился этой правде Божией.

В Куйбышеве батюшка нашёл церковь. На то время в городе было только два действующих храма: Покровский и Петропавловский. В 20-30-е годы в результате učinённых властями ре-

прессий против Православной Церкви и её служителей в Куйбышеве из 55 православных храмов были закрыты, разрушены или разорены 53 храма. В 1939 году был закрыт и Петропавловский. Его здание использовали под военный склад, а затем под конюшни. Только в конце Великой Отечественной войны храм вновь возвратили верующим. Его капитально отремонтировали, заново расписали внутри и оборудовали той утварью,



1954 г. Священник Иоанн Крестьянкин.  
Псково-Печерский монастырь.

что уцелела от других разрушенных храмов. Но в период с 1938 по 1946 годы в городе оставалась лишь одна действующая церковь — Покровская. В сентябре 1941 года правящим архиереем Куйбышевской епархии был назначен архиепископ Андрей (Комаров), прежде много трудов положивший для восстановления порушенного «обновленцами» авторитета Православной Церкви в Куйбышеве. Покровская церковь становится кафедральным собором Куйбышевской (ныне Самарской) епархии и остаётся им по сей день. В годы Великой Отечественной войны Покровский собор постоянно участвовал в сборе пожертвований в различные фонды военного времени, в том числе были собраны средства на танковую колонну имени Димитрия Донского. Покровский собор



## Сергей Чекунов. Гаврилова Поляна

как кафедральный отличался торжественностью богослужений и великолепным хором. Традиции церковного пения связаны со временем Великой Отечественной войны, когда в куйбышевских храмах хоры были лучшими в России, так как в них пели артисты эвакуированных в Куйбышев столичных театров, в том числе и Большого театра: И.С. Козловский, М.Д. Михайлов и другие замечательные певцы. И, скорее всего, батюшка зашёл именно туда. Служба уже закончилась, но храм хранил в себе тепло молитвенного духа и светлую радость великого праздника. И только в храме батюшка почувствовал себя на свободе. От избытка нахлынувших чувств, от полноты благодарности он долго, застыв в молитве, стоял посреди храма, пока не услышал обращённого к нему возгласа: «Пройдите». Это слово, воспринимавшееся в течение пяти лет так однозначно, заставило его вздрогнуть. Но вот отец Иоанн увидел, что навстречу ему из алтаря бежит, улыбаясь, незнакомый батюшка. А радость, которую он излучал, сразу сделала их родными. Местный священник узнал в бывшем заключённом собрата, одел его в подобающую одежду и накормил. За разговором они не заметили, как подошло время идти на поезд. Приехав в Москву ночью и сойдя с поезда, прямо с вокзала отец Иоанн сообщил родным, что он уже в Москве, и что его «затвор» кончился...